

Аннотация

"Рэгтайм" - пожалуй, самое известное произведение Эдгара Л.Доктороу. Остроумный, увлекательный и в то же время глубокий ретророман, описывающий становление американской нации. Был экранизирован Милошем Форманом, на Бродвее по мотивам романа поставлен мюзикл. Перевод, сделанный Василием Аксеновым, в свое время стал литературной сенсацией.

Эдгар Лоуренс Доктороу

Рэгтайм

С теплым чувством посвящается

Роз Доктороу-Бак

Не торопись.

Играешь рэгтайм,

никогда

не спеши...

Скотт Джаплин

ı

1

В 1902 году Отец построил дом на гребне холма, что на авеню Кругозора, что в Нью-Рошелл, что в штате Нью-Йорк. Трехэтажный, бурый, крытый дранкой, с окнами в нишах, с крыльцом под козырьком, с полосатыми тентами – вот домик. Солнечным июньским днем семейство вступило во владение этим отменным особняком, и даже несколько лет спустя им казалось, что все их дни здесь будут теплыми и ясными, как тот июнь. Лучшую часть своих доходов Отец извлекал из производства флагов, знамен, стягов и других атрибутов патриотизма, включая и фейерверки. На чувство патриотизма в ранние девятисотые можно было положиться. Президентом был Тедди Рузвельт. Население в огромных, по обыкновению, количествах собиралось для общественных вылазок на природу, на ритуал "жареная рыба", на парады, на политические пикники, не пренебрегая, однако, и сборищами в театрах, в конференц-залах, дансингах, где угодно. Похоже, не было ни одного мероприятия, на которое не слетались бы несметные рои народу. Поезда, пароходы и трамваи исправно перевозили публику с места на место. Таков был стиль, таков образ жизни. Дамы были гораздо основательнее тогда. С белыми зонтиками в руках они визитировали флот. Летом все носили белое. Тяжеленные теннисные ракетки были эллипсоидными. Отмечалось немало обмороков на любовной почве. Однако – никаких негров. Никаких иммигрантов. В воскресенье пополудни, а именно после обеда, Отец и Мать пошли наверх и закрылись в спальне. На диване в гостиной Дед как был, так и заснул. На крыльце устроился Малыш в матроске – сидя там, он успешно отмахивался от мух. У подножия холма Младший Брат Матери скакнул в трамвай и поехал к концу линии. Этот одинокий и отрешенный молодой человек со светлыми усиками будто бы нарочно был придуман для самотерзаний. В конце линии поджидало его пустое поле высокой болотной травы. Соленый воздух. Младший Брат, облаченный в белый костюм и непременное канотье, закатал брюки и пошел босиком по соленой слякоти. Вспугивал морских пернатых. Это было то время в нашей истории, когда Уинслоу Хомер продуцировал свою живопись. Особое освещение еще присутствовало тогда вдоль Восточного побережья. Хомер писал этот свет. Тяжелая нудноватая угроза холодно поблескивала на скалах и мелях Новой Англии. Необъяснимые кораблекрушения, смелые спасательные буксировки. Странноватые дела на маяках и в лачугах, гнездящихся в прибрежных сливовых зарослях. По всей Америке открыто гуляли секс и смерть. Женщины очертя голову умирали в ознобе экстаза. Богатей подкупали репортеров, чтобы скрыть свои делишки. Журналы надо было читать между строк, что и делалось. Газеты в Нью-Йорке увлеченно занимались убийством знаменитого архитектора Стэнфорда Уайта. Убийца Гарри Кэй Фсоу, эксцентрический отпрыск железнодорожных властелинов, был мужем общепризнанной красавицы Эвелин Несбит, которая когда-то была любовницей жертвы. Роковая стрельба имела место в саду на крыше Мэдисон-сквер-гардена, впечатляющего здания длиной в целый квартал – желтый кирпич и терракота, – которое Уайт как раз сам и разработал в севильском стиле. Там как раз происходила премьера ревю "Мамзель Шампань", и, как только хор запел и затанцевал, эксцентрический отпрыск, одетый по случаю летней ночи в зимнее пальто, вытащил пистолет и трижды выстрелил знаменитому архитектору в голову. На крыше. Крики ужаса. Эвелин мгновенно и полностью отключилась. Она стала известнейшей натурщицей уже к пятнадцатилетнему возрасту. Нижнее белье белое. Муж взял себе в привычку пороть ее. Однажды ей случилось повстречаться с Эммой Голдмен, революционеркой. Та бичевала ее своим огненным языком. Очевидно, все же были негры уже. Были все ж таки иммигранты же. И хотя газеты трубили о Преступлении Века, Голдмен знала, что шел только 1906-й и впереди у нас было девяносто четыре года.

Младший Брат Матери был влюблен в Эвелин Несбит. Он пристально следил за скандалом,

окружавшим ее имя, и полагал, что после смерти любовника и ареста мужа удивительное создание нуждается во внимании безденежного, но благородного молодого человека из средних классов. Он замкнулся на этой идее. Он отчаялся. В комнате его приколот был к стенке вырезанный из газеты рисунок Чарльза Дейна Гибсона, названный "Вечный вопрос". На нем была представлена Эвелин в профиль, в избытке ее волос, причем одна прядь падала, принимая форму перевернутого вопросительного знака. Упавший завиток затенял ее бровь и украшал потупленный глазик. Носик слегка вздернут. Губки чуть-чуть надуты. Длинная шея изгибалась словно птица, поднимающая крылья. Эвелин Несбит была причиной смерти одного и крушения другого, но не было ничего стоящего в жизни, кроме объятия ее тонких рук — о да!

Послеполуденная голубая дымка. Приливная вода просачивалась в его следы. Он нагнулся и поднял чудесную раковину, необычную для западного Лонг-Айленда. Она была розовая и янтарная, спирально закрученная в виде муфты. Соль подсыхала на его лодыжках, он стоял в солнечной дымке и, запрокинув голову, глотал морскую воду из этой раковины. Чайки вились над головой, трубя, как гобои, а за его спиной, скрытый высокой травою, предостерегающе звонил на Северной авеню трамвай.

На другом конце городка Малыш в матроске, вдруг потеряв покой, взялся измерять длину крыльца. Разумеется, пошло в оборот плетеное кресло-качалка. Малыш был в зените детской мудрости, которая никогда не предполагается взрослыми и, стало быть, проходит нераспознанной. Широчайшие познания он черпал в ежедневных газетах и постоянно следил за дискуссией между профессиональными бейсболистами и ученым, который объявил крученую подачу оптической иллюзией. Он чувствовал, что обстоятельства семейной жизни препятствуют его тяге к познанию. Вот, например, он возымел невероятный интерес к артисту-эскейписту Гарри Гудини. И что же? Его ни разу еще не взяли на представление. Гудини был гвоздем всех главных водевильных программ. Аудитория его – дети, носильщики, уличные торговцы, полицейские – словом, плебс. Жизнь его – абсурд. По всему миру его заключали в разного рода путы и узилища, и он убегал отовсюду. Привязан веревкой к столу. Убежал. Прикован цепью к лестнице. Убежал. Заключен в наручники и кандалы, завязан в смирительную рубашку, заперт в шкаф. Убежал. Он убегал из подвалов банка, заколоченных бочек, зашитых почтовых мешков, из цинковой упаковки пианино Кнабе, из гигантского футбольного мяча, из гальванического котла, из письменного бюро, из колбасной кожуры. Все его побеги были таинственны, ибо он никогда не взламывал своих узилищ и даже не оставлял их открытыми. Занавес взлетал, и он оказывался, всклокоченный, но торжествующий, рядом с тем, в чем предположительно он только что содержался. Он махал толпе. Он освободился из молочного бидона, наполненного водой, из русского тюремного вагона, сбежал с китайской пыточной дыбы, из гамбургской тюрьмы, с английского тюремного корабля, из бостонской тюрьмы. Его приковывали к автомобильным колесам, пароходным колесам, пушкам – и он освобождался. Он нырял в наручниках с моста в Миссисипи, Сену, в Мереей и выныривал, приветствуя народ раскованными руками. В смирительной рубашке и вниз головой он свисал с кранов, с бипланов, с домов. Он был сброшен в океан в водолазном костюме с полным снаряжением, но без воздушного шланга. Убежал. Он был похоронен заживо, но на этот раз не смог освободиться, пришлось его спасать. Земля слишком тяжела, сказал он задыхаясь. Ногти кровоточили. Глаза забиты землей. В нем не было ни кровинки, он не держался на ногах. Помощник вытаскивал его. Гудини хрипел и бессвязно бормотал. И кашлял кровью. Его отпустили и отвезли в отель. Сейчас, через пятьдесят лет после его смерти, аудитория у подобных эскапад еще больше увеличилась.

Малыш на крыльце взирал на майскую муху, что пересекала навес таким образом, словно это путь на холм с Северной авеню. Муха улетела. С Северной авеню на холм поднимался автомобиль. Ближе, ближе и оказался не чем иным, как 45-сильным "поп-толидо ранэбаут". Малыш сбежал по ступеням крыльца. Производя сильный шум, машина прошла мимо дома и отклонилась прямиком в телефонный столб.

Малыш побежал в дом и воззвал наверх к родителям. Для начала проснулся Дед. Малыш побежал обратно на крыльцо. Шофер и пассажир стояли на улице, разглядывая машину. Большие колеса с пневматическими шинами и деревянными спицами, покрытыми черной эмалью. Медные фары перед радиатором и медные боковые лампы на крыльях. Обивка с кисточками и дверцы с каждой стороны. Никаких повреждений не замечалось. Шофер был в ливрее. Он поднял крышку капота. Гейзер белого дыма вырвался с дивным шипением.

Кое-кто поглядывал из ближних дворов. Однако Отец, прилаживая цепочку на жилете, уже спускался посмотреть, чем он может помочь. Владельцем машины оказался Гарри Гудини, знаменитый эскейпист. Он проводил день, путешествуя через Вустер и размышляя о покупке какой-нибудь собственности. Его пригласили в дом, пока радиатор охлаждался. Он удивил всех своими скромными, едва ли не занудными манерами. Он выглядел подавленным. Так оно, между прочим, и было: его успехи привлекли в водевиль сонмы конкурентов, и, следовательно, ему приходилось выдумывать все больше и больше опасных трюков. Невысокий, ладно скроенный и очевиднейший атлет: мускулы спины и рук более чем отчетливо определялись под твидовым костюмом, тоже скроенным весьма неплохо, хотя и несколько неуместным в этот жаркий день. Ртуть подбиралась к 90[1]. У него были жесткие, непослушные волосы, разделенные посредине на пробор, и чистые голубые глаза, которые двигались без устали. Он был чрезвычайно почтителен к Матери и Отцу и говорил о своей профессии с некоторой неуверенностью, что их приятно поразило. Малыш пожирал его глазами. Мать велела подать лимонад. Гудини оценил это чрезвычайно. В гостиной было прохладно благодаря парусиновым навесам над окнами, да и сами окна были закрыты, чтобы не впускать жару. У Гудини возникло поползновение отстегнуть еще и воротничок, но он чувствовал себя здесь как бы в плену этой тяжелой квадратной мебели, драпировок и темных ковров, восточных шелков и абажуров зеленого стекла. Шкура зебры к тому же. Заметив взгляд Гудини, Отец мимоходом сообщил, что застрелил эту зебру на сафари в Африке. У Отца была весьма значительная репутация исследователя-любителя. В прошлом он имел честь быть президентом Нью-йоркского клуба исследователей, куда вносил ежегодно лепту. В самом деле, через несколько дней он отбывал из дома, чтобы нести флаг своего клуба в третьей арктической экспедиции коммодора Пири. "Значит, вы собираетесь с Пири на Полюс?" – спросил Гудини. "С божьей помощью", ответил Отец, после чего сел в свое кресло и закурил сигару, Гудини чрезвычайно оживился. Он вышагивал взад-вперед и говорил о собственных приключениях, о турне по Европе. "Однако Полюс! – воскликнул он. – Это нечто! Вы, должно быть, в полном порядке, если вас выбрали для этого". Голубые его глаза обратились к Матери. "Поддерживать домашний очаг тоже не очень-то легкое бремя", – сказал он. Не лишен шарма, нет-нет. Он улыбнулся, и Мать, крупная блондинка, потупилась. Гудини провел еще несколько минут, производя рукой мелкие ловкие фокусы с незначительными предметами, как бы специально для Малыша. Когда он взялся уходить, вся семья целиком провожала его до дверей. Отец и Дед пожали ему руку. Он прошел по тропинке под большущим кленом и по каменным ступеням спустился на улицу. Шофер ждал, машина была в порядке. Гудини вскарабкался на сиденье рядом с шофером и помахал рукой. Соседи глазели на него со своих дворов. Малыш, сопровождавший волшебника на улицу, теперь стоял перед "поп-толидо", глядя на собственное искаженное, макроцефальное отражение в медной фаре. Гудини подумал: вот пригожий пацанчик, светленький, как его мамочка, кучерявенький, быть бы ему чуть-чуть пожестче. Он перегнулся через дверцу и протянул руку. "До свидания, сынок". – "Предупреди эрцгерцога", – вдруг сказал Малыш. После чего убежал.

2

Так уж случилось, что неожиданный визит Гудини оборвал родительский коитус. Увы, Мать не подавала теперь никаких знаков к возобновлению. Больше того, она ретировалась в сад. Дни проходили, время отъезда Отца приближалось, и он все время ждал с ее стороны молчаливого приглашения в постельку. Жизнь научила его, что любая собственная активность может сорвать все предприятие. У этого кряжистого мужчины были завидные аппетиты, но в то же время он чрезвычайно ценил несклонность жены отвечать его неделикатным потребностям. Тем временем все домашнее хозяйство подготавливалось к отъезду. Нужно было упаковать все его принадлежности, сделать массу распоряжений по бизнесу на время отсутствия, предусмотреть тысячи других деталей. Мать поднимала тыльную сторону ладони ко лбу и отбрасывала прядь волос. Никто в семье не был, конечно же, безразличен к тем опасностям, которые ждали Отца. Правда, никто и не думал останавливать его. Их брак, казалось, расцветал после его пространных отлучек. Вечером перед его отъездом за обедом рукав Матери смахнул ложечку со стола, и она покраснела. Когда дом погрузился в сон, Отец прошел в темноте в ее спальню. Он был торжественен и внимателен соответственно обстоятельствам. Мать закрыла глаза и зажала уши. Пот с отцовского подбородка падал на ее груди. Она начала. Она думала: пока, как мне кажется, это были счастливые годы, но впереди нас ждут беды.

На следующее утро все отправились на станцию проводить Отца. Присутствовал кое-кто из начальства, и заместитель Отца произнес короткую речь. Расплескались аплодисменты. Прибыл ньюйоркский поезд. Пять лакированных темно-зеленых вагонов, влекомых "Болдуином 4-4-0" с огромными колесами. Малыш наблюдал за смазчиком, который с масленкой копошился у бронзовых клапанов паровоза. Он почувствовал руку на своем плече, оглянулся и обнаружил рядом смеющегося Отца, который предлагал ему крепкое мужское рукопожатие. Дед был отстранен от перетаскивания багажа. С помощью носильщика Отец и Младший Брат Матери погрузили сундуки. Отец пожал молодому человеку руку. Он повысил его в должности и укрепил его положение в фирме. "Приглядывай за делами", — сказал Отец. Младший Брат кивнул. Мать сияла. Она нежно обняла мужа, а тот поцеловал ее в щеку. Стоя на задней платформе последнего вагона, Отец ускользал, поднимая шляпу в прощальном приветствии, пока не скрылся за поворотом.

На следующее утро после завтрака с шампанским для прессы люди из экспедиции Пири выбрали швартовы, и их маленький, но крепенький корабль "Рузвельт" отошел от причала на Ист-ривер. Пожарные катера, выпускающие струи воды, развешивали вокруг радуги, раннее солнце поднималось над городом. Пассажирские лайнеры трубили в свои басовитые горны. Это продолжалось, пока "Рузвельт" не достиг открытого моря, и лишь тогда Отец убедился в реальности путешествия. Стоя у борта, он благоговейно, всеми костями, ощутил неизменное дыхание океана. Спустя некоторое время "Рузвельт" прошел мимо трансатлантической посудины, набитой по самую трубу иммигрантами. Отец смотрел, как шлепал по воде нос этой чешуйчатой широченной посудины. Ее палуба кишела людьми. Тысячи мужских голов в котелках-"дерби" Тысячи женских — в платках. Отец, персона нормальная и прочная, внезапно ощутил упадок духа. Странное отчаяние охватило его. Ветер крепчал, и небо затягивалось, и великий океан начал метаться и разламываться, являя на свет божий вздымающиеся плиты гранита и скользящие террасы сланца. Отец смотрел на иммигрантскую посудину, покуда не потерял ее из вида. Все же, подумал он, это плывут новые покупатели, им понадобится огромный магазин под американским флагом.

Большинство иммигрантов явились из Италии и Восточной Европы. Баркасами их доставляли на остров Эллис, где в оригинально орнаментированных красным кирпичом и серым камнем человеческих хранилищах их нумеровали, снабжали ярлыками, мыли в душе и размещали на скамейках в загончиках для ожидания. Прибывшие немедленно ощущали неограниченную власть иммиграционных властей. Чиновники лихо меняли имена, которые им трудно было выговорить, отрывали людей от их семейств, списывали в обратный путь стариков, близоруких, подонков общества и тех, кто им казался нахалами. Ослепляющая власть этих людей напоминала иммигрантам то, от чего они бежали. В конце концов они оказывались на улицах и кое-как притыкались в жилых кварталах. Ньюйоркеры их презирали. Такие грязные, неграмотные. Воняют рыбой и чесноком. Гноящиеся раны. Бесконечные несчастья. Никакой чести, работают почти бесплатно. Воруют. Пьют. Насилуют собственных дочерей. Убивают друг друга. Среди тех, кто их презирал, большинство составляли ирландцы второго поколения, чьи отцы были повинны в тех же грехах. Ирландские ребятишки таскали за бороды старых евреев и сбивали их с ног. С не меньшим успехом переворачивались тележки итальянских разносчиков.

В любое время года по улицам проезжали особые фургоны и подбирали тела доходяг. По ночам старые женщины в платках "бабушкой" отправлялись в морги искать своих мужей и сыновей. Трупы лежали на столах оцинкованного железа. От изножья каждого дренирующая трубка шла к полу. Вокруг края стола тянулся кульверт, и в этот кульверт непрерывно стекала вода, которая разбрызгивалась столь же непрерывно из крана над головой. Лица покойников были подняты вверх, в потоки воды, которая окатывала их подобно неукротимому механизму смерти, смерти в собственных слезах, так сказать.

Однако можно уже было кое-где услышать гаммы, уроки игры на пианино. Люди мало-помалу "пристегивались к флагу". Мостили улицы. Пели. Хохмили. Целые семьи ютились в одной-единственной комнате, и каждый работал: Мамка, Тятя и Малышка в передничке. Мамка и Малышка шили штанишки и получали семьдесят центов за дюжину. Брались за шитье, вылезая из постели, и прекращали только перед отходом ко сну. Тятя добывал пропитание на улицах. Время шло, и они решили познакомиться с городом. Однажды в воскресенье, охваченные дикой бесшабашностью, они потратили 12 центов на три билета и отправились трамваем в центр. Они шли по Мэдисон авеню и по Пятой авеню и глазели на особняки. Владельцы называли эти особняки "дворцами". Они правильно их называли, это и были дворцы, и все они были спроектированы Стэнфордом Уайтом. Тятя был социалист. Он смотрел на дворцы, и сердце его клокотало от социальной ярости. Приходилось, однако, спешить. Полицейские в высоких касках поглядывали на семейство. Им не очень-то нравилось видеть иммигрантов на этих широких пустых тротуарах в этой части города. "Побаиваются, — объяснял Тятя, — несколько лет назад один иммигрант застрелил стального магната Генри Фрика в Питтсбурге".

В семью пришел кризис вместе с письмом, в котором говорилось, что Малышка должна посещать школу. Это означало, что теперь им не свести концы с концами. Мамка и Тятя беспомощно отвели ребенка в школу. Она была зачислена и теперь ежедневно уходила. Тятя слонялся по улицам. Он не знал, что делать со своим "бизнесом вразнос". Ни разу бедолаге не удалось найти выгодное местечко у обочины. Пока он так плутал, Мамка сидела у окна со своими раскройками и крутила швейную машинку. Маленькая темноглазая женщина с волосами, разделенными посредине и собранными на затылке в некий крендель. Оставаясь в одиночестве, она обычно пела нечто своим тоненьким и довольно сладким голоском. Нечто без слов. Однажды пополудни она собрала, как обычно, законченную работу и понесла ее на Стэнтонстрит, в склад на чердаке. Владелец склада пригласил ее к себе в контору. Он внимательно осмотрел работу и похвалил ее. Тут же и денежки отсчитал — долларом больше, чем следовало. Это просто потому,

что вы такая хорошенькая, объяснил он. Улыбнулся. Чуть-чуть потрогал Мамкины груди. Мамка убежала, прихватив, однако, лишний доллар. В следующий раз все это повторилось. Она объяснила Тяте, что сильно увеличила выработку. Постепенно она привыкала к рукам своего работодателя. Однажды, получив двухнедельную плату, она позволила ему сделать с ней все, что он хотел, на раскройном столе. Он целовал ее лицо, соленое от слез, солененькое от слезок.

К этому моменту истории Джейкоб Риис, неутомимый газетчик и реформатор, стал писать о жилищах для бедняков. Страшная скученность. Ноль санитарии. Улицы завалены говном. Дети умирают от элементарнейшей простуды, от легкой сыпи. Умирают в кроватках, сделанных из двух кухонных стульев. Умирают на полу. Многие люди полагали, что грязь, голод и болезни — это просто следствия моральной дегенерации иммигрантов. Риис был не из этого числа, он верил в вентиляцию. Вентиляция, воздух и свет принесут здоровье. Он карабкался по темным лестницам, стучался в двери и вспышкой фотографировал нуждающиеся семьи. Очень просто: поднимаешь сковородку с магнием, суешь голову под капюшон, вспышка — щелчок! Ослепив семейство, он удалялся, а те, не осмеливаясь двинуться, надолго оставались в исходной позиции. Потом они начинали ждать от жизни чудесных изменений и трансформаций. Риис сделал цветную карту этнических групп Манхэттена. Скучный серый цвет был предоставлен евреям — это их любимый цвет, объяснил Риис. Красный — смуглым итальянцам. Голубой — экономным немцам. Черный — африканцам. Зеленый — ирландцам. Ну, а желтый, разумеется, коту-китайцу: кто, как не кошка, кроется в их жестокой хитрости и дикой ярости — лишь только тронь. Добавьте цветные штришки еще и для финнов, арабов, греков, для прочих, и вы получите сумасшедшее одеяло человечества, кричал Риис, взбесившееся одеяло нью-йоркского гуманизма.

Однажды Риис решил проинтервьюировать Стэнфорда Уайта, именитого архитектора. Он хотел бы узнать, строил ли когда-нибудь тот жилища для бедных. Какие у него идеи по части такого строительства, по части вентиляции, света. Уайта он нашел в доках наблюдающим за выгрузкой европейской архитектурной обстановочки. Риис как завороженный взирал на то, что появлялось из трюмов: целые фасады флорентийских дворцов и афинская атрия, камень к камню, все маркированные, живопись, скульптура, гобелены, резные и рисованные потолки, мраморные фонтаны, мраморные лестницы и балюстрады, изразцовые патио, паркетные полы и шелковые стенные панели, пушки, знамена, доспехи, арбалеты и другое древнее оружие, кровати, картины, пиршественные столы, клавикорды, бочки стекла, столового серебра и золота, фаянс и фарфор, церковный орнамент, ящики редчайших книг и табакерки. Уайт, здоровенный, полнокровный мужлан с рыжеватой, слегка седеющей щеткой волос, ходил вокруг, шлепая скатанным зонтиком по спинам тружеников. "Осторожно, вы, дурачье!" – покрикивал он. У Рииса были вопросы к знаменитости. Жилища для бедных – это была его тема. Однако сейчас перед ним предстал образ демонтированной Европы, расчищения древних земель от скученности, хаотического избытка, рождение новой эстетики в европейском искусстве и архитектуре. Сам он был датчанин.

В тот вечер Уайт отправился на премьеру "Мамзель Шампань" в сад на крыше Мэдисон-сквергардена. Это было в начале июня, а к концу месяца нахлынувшая волна зноя стала убивать новорожденных по всем трущобам. Доходные дома раскалились, как топки, а у съемщиков не было даже питьевой воды. Водопроводные раковины в цокольных этажах домов высохли. Отцы семейств рыскали по городу в поисках льда. Конечно, растленный Таммани-Холл был уже разрушен реформаторами, но тем не менее деляги захватили поставку льда в свои руки и теперь толкали его маленькими кусочками по диким ценам. Многие выходили с подушками прямо на тротуары. Семьи спали на ступенях крылец и в дверях. Лошади падали и околевали на улицах. Санитарный департамент снаряжал ломовиков оттаскивать лошадиные трупы, но ломовиков не хватало, и трупы вздувались и лопались на жаре. Вывалившиеся кишки растаскивали крысы. И отовсюду из трущоб, над серым шмотьем, безнадежно висящим на веревках, поднимался запах жареной рыбы. Такая картина.

В удушающей летней жаре политики, алчущие переизбрания, приглашали своих сторонников на вылазки за город. К концу июля один из кандидатов провел парад по улицам Четвертого округа. Гардения в петлице. Оркестр играл Соза-марш[2]. Члены Ассоциации добровольного содействия следовали за оркестром, и вся процессия промаршировала к реке, где погрузилась в полном составе на пароход "Великая республика", который взял курс вдоль Лонг-Айленда к местечку Ржаное, как раз за Нью-Рошелл. Пароход, перегруженный едва ли не пятью тысячами активистов, ужасно кренился на правый борт. Солнце жгло. Пассажиры давились на палубах, стремясь ухватить глоток воздуха. Вода как стекло. В Ржаном все выгрузились и построились для следующего парада к Павильону, где традиционная жареная рыба была сервирована целой армией официантов в белых длинных фартуках. После церемонного ленча произносились речи из оркестровой раковины. Последняя была декорирована патриотическим многофлажием. Это роскошество было обеспечено отцовской фирмой. Были также знамена с именем кандидата, написанным золотом, и маленькие американские флажки на позолоченных палочках, поставленные как сувениры на каждый стол. Послеобеденный отдых Добровольное содействие провело, употребляя пиво, играя в бейсбол и бросая подкову. Луга вокруг Ржаного были усеяны мужчинами, дремлющими в траве, прикрыв свои лики своими "дерби". Вечером столы снова были сервированы, играл военный оркестр, а затем наступила кульминация всего празднества показ фейерверка! Младший Брат Матери прибыл сюда, чтобы лично руководить этим делом. Как ему нравилось разрабатывать рисунки фейерверка! Честно говоря, это единственное, что интересовало его в их бизнесе. Ракеты взмывали, взрываясь в наэлектризованном вечернем воздухе. Сполохи сами по себе полыхали над проливом. Огромное колесо вращающихся огней, казалось, катило по воде. Женский профиль, будто новое созвездие, отчеканился в ночном небе. Ливни огней – красных, и белых, и голубых – падали, можно сказать, как звезды, и взрывались снова, можно сказать, как бомбы. Все ликовали. Когда фейерверк завершился, были зажжены факелы, чтобы отметить путь к пристани. На обратном пути старый пароход кренился на левый борт. Среди пассажиров был и Младший Брат, который вспрыгнул на борт в самый последний момент. Перешагивая через людей, спящих на палубе, он пробрался на нос. Он стоял там, подставив воспаленное огнем и переживаниями лицо ночному бризу, пролетавшему над черной водой. Горящие глаза его были устремлены в ночь... Он думал об Эвелин.

К этому времени Эвелин Несбит была чрезвычайно занята ежедневными репетициями своих показаний на предстоящем процессе по убийству Стэнфорда Уайта. Ей приходилось иметь дело не только с самим Фсоу, которого она навещала почти ежедневно в городской тюрьме "Могилы", но также и с его адвокатами, которых было ни много ни мало, а несколько, но также и с его матерью, вдовствующей королевой из Питтсбурга, которая ее презирала, но также и с собственной матушкой, чьи самые алчные мечты о богатстве она давно уже превзошла. Пресса следовала за ней по пятам. Она старалась жить тихо в маленьком привилегированном отеле. Она старалась не вспоминать простреленную физиономию Стэнфорда Уайта. Еду ей приносили в комнаты. Она репетировала. Ко сну отходила рано, веря, что сон улучшает цвет кожи. Скуча-а-ала. Заказывала платья. Ключ к защите Гарри Кэй Фсоу состоял в том, что он как бы временно помешался из-за ее рассказа о юности, разрушенной в пятнадцатилетнем возрасте. Она была натурщицей, Ваша Честь, и начинающей актрисой. Стэнфорд Уайт пригласил ее в свои апартаменты в башне Мэдисон-сквер-гардена и угостил шампанским. В шампанском было кое-что лишнее, Ваша Честь. Когда она очнулась, извержение уайтовского вулкана лежало на ее бедрах словно глазировка на булочках.

Однако предполагалось все-таки, что не так-то легко будет убедить присяжных, что Гарри Кэй Фсоу свихнулся только из-за этой трогательной истории. Он был всегда склонен к насилию и творил дебоши в

ресторанах. Гонял авто по тротуарам. Не чурался поползновений к самоубийству и однажды выжрал полную бутыль лауданума. Держал шприцы в серебряном ящичке. Подкалывался, стало быть. У него была привычка стискивать кулаки и бить ими в собственные виски. Он был властным и надменным собственником и до психоза ревнив. Перед их женитьбой он состряпал план, по которому Эвелин должна была подписать свидетельство о том, что Стэнфорд Уайт избивал ее. Она отказалась и пожаловалась Уайту. Тогда Гарри поволок ее в Европу, чтобы не беспокоиться уже, что Стэнфорд Уайт где-то ждет своей очереди. Мать Эвелин сопровождала ее в качестве дуэньи. Они отплыли на "Кронпринцессе Сесили". В Саутгемптоне Гарри откупился от мамаши и поволок Эвелин одну на континент. В конце концов они прибыли в арендованный заранее древний горный замок в Австрии – шлосс Катценштайн. В первую же ночь он стащил с нее платье, швырнул ее поперек кровати и приложился псовым хлыстом к ее ягодичкам. Вопли ее эхом разносились по коридорам и каменным лестницам. Немецкие слуги в своих каморках слушали эти дикие звуки, краснели, открывали бутылки "Гольдвассера" и совокуплялись. Ужасные красные рубцы обезобразили нежную плоть Эвелин. Она плакала и причитала всю ночь. Утром Гарри вернулся, на этот раз для разнообразия с ремнем для правки бритвы. Она была прикована к кровати на недели. Во время ее выздоровления он приносил ей стереоскопические слайды Шварцвальда и Австрийских Альп. Он был теперь изящен в любовных делах и особенно заботлив к нежным местечкам. Тем не менее она решила, что они, как говорится, не сошлись характерами. Она потребовала, чтобы ее отослали домой. Ее мать давно уже вернулась, когда она в полном одиночестве поплыла домой на "Кармании". В Нью-Йорке Эвелин немедленно отправилась к Стэнфорду Уайту, чтобы поведать ему о случившемся. Она показала ему следы истязания на внутренней стороне правого бедра. Боги, сказал Стэнфорд Уайт. Поцеловал пятнышко. Она показала ему небольшую пигментацию, желтенькое и пурпурненькое на левой ягодичке, там, где это загибалось к расселине Как ужасно, сказал Стэнфорд Уайт. Поцеловал местечко. На следующее утро он послал ее к адвокату, который подготовил ее показания о драме в шлоссе Катценштайн Эвелин подписала показания. Теперь, дарлинг, когда Гарри вернется, обрадуй его этим. Стэнни Уайт широко улыбался. Она выполнила все инструкции Гарри Кэй Фсоу прочел показания, немедленно побледнел и тут же предложил жениться. Вот так хористочка иной раз может обстряпать дело лучше любой из девок "Флорадоры".

И вот теперь Гарри заклеймен позором и сидит в тюрьме. Его камера была в "Галерее убийц", на верхнем ярусе мрачных "Могил". Каждый вечер стража приносила ему газеты, так что он мог следить за подвигами своих фаворитов команды "Питтсбург нейшнлз" и их звезды Хонуса Вагнера. Читая о бейсболе, он натыкался, конечно, и на собственное дело. Он проглядывал все газеты "Уорлд", "Трибюн", "Тайм", "Ивнинг пост", "Джорнэл", "Геральд". Закончив чтение, он складывал газеты, подходил к решетке и колотил ими по прутьям, пока газетный жгут не распадался на части и не опадал, порхая и паря, на шесть этажей вниз через главную пещеру, или, если угодно, пролет тюрьмы, вокруг которого располагались ярусами камеры-клетки. Его поведение просто восхищало стражу. Не так уж часто они имели дело с людьми такого класса Фсоу не очень-то был увлечен тюремной пищей, и поэтому ему приносили еду из "Дельмонико". Зато он любил чистоту, и потому тюремщики ежедневно меняли ему белье – свежее каждое утро доставлялось его камердинером к воротам "Могил". Он недолюбливал, надо сказать, негров, и потому его заверили, что ни одного черного нет в окрестностях его камеры. Фсоу не был безразличен к любезности надзирателей. Свою благодарность он показывал не таясь и в самом безупречном стиле, комкая и разбрасывая по полу двадцатидолларовые купюры и смеясь над свиньями, что ползали у его ног и унижались, подбирая эту шелуху. Стража была счастлива. Репортеры набрасывались на них, когда они выходили из "Могил" в конце смены. Страшное возбуждение охватывало газетную братию, когда ежедневно пополудни прибывала Эвелин, которая, казалось, даже похрустывала в своем жакете с высоким воротником и в плиссированной юбке. Супругам тогда разрешалось прогуливаться по "Мосту вздохов" стальному переходу между "Могилами" и зданием уголовного суда. Фсоу ходил каким-то ныряющим, голубиным шажком, походкой человека с повреждением мозга. У него были широкий рот и вылупленные кукольные глаза внешность скрытого педа Викторианской эпохи. Иногда его видели дико жестикулирующим, в то время как Эвелин стояла, склонив голову, лицо в тени шляпы. Иногда он обращался к администрации с просьбой о комнате для консультаций. Надзиратель, дежуривший возле двери консультационной, основываясь на наблюдениях через "глазок", заявлял, что Фсоу иногда там внутри плакал, а иногда просто держал свою подругу за руку. Иногда он шагал взад-вперед и колотил себя кулаками в виски, пока она лишь молча взирала в зарешеченное окно. Однажды он потребовал доказательства ее преданности, впрочем, это оказалось не чем иным, как феллацио. Странным образом упершаяся в живот Фсоу широкополая шляпа Эвелин с пучком сухих цветов на тулье медленно оторвалась от ее прически. Потом он смел опилки с передка ее юбки и угостил ее несколькими банкнотами из своего бумажника.

Эвелин говорила репортерам, поджидавшим ее возле "Могил", что ее муж Гарри Кэй Фсоу невиновен. Процесс покажет, что мой муж Гарри Кэй Фсоу невиновен, говорила она, садясь в электрический экипаж, предоставленный ей августейшей свекровью. Шофер закрывал за ней дверцу. Внутри экипажа она плакала. Уж кто-кто другой, а она-то хорошо знала о невиновности Гарри. Она согласилась свидетельствовать в его пользу за двести тысяч долларов. За развод она собиралась слупить и побольше. Пальчики ее вдруг начинали суетливо бегать по обшивке. Слезы высыхали. Странная горькая экзальтация охватывала ее сердце, и она наконец застывала с холодной победоносной улыбкой на устах. Она выросла в уличной пыли шахтерского городка в Пенсильвании. Она стала скульптурой-кич, которую Стэнни Уайт водрузил на вершину башни Мэдисон-сквер-гардена, – глория, обнаженная бронзовая Диана, лук натянут, лик в небесах.

По удивительному совпадению в этот момент нашей истории угрюмый романист Теодор Драйзер ужасно страдал от плохих рецензий и мизерной продажи своей первой книги "Сестра Керри". Он был разбит, не мог работать и стыдился смотреть людям в глаза. Он снял меблирашку в Бруклине и сидел там на деревянном стуле посреди комнаты. Однажды он решил, что стул смотрит в неверном направлении. Изъяв свое тело из стула, он взял последний двумя руками и повернул вправо, то есть приблизил его к истине. На минуту он подумал, что добился своей цели, но тут же жестоко разочаровался. Он еще раз повернул стул вправо. Посидел на нем немного, но снова почувствовал себя не в своей тарелке. Еще один поворот. В конечном счете он описал полный круг, но так и не нашел истинного направления. День угасал за грязным окном меблирашки. Всю ночь Драйзер поворачивал свой стул по кругу в поисках верной магистрали.

Не только надвигавшийся процесс Фсоу волновал общественность "Могил". Два надзирателя в свободное от работы время разработали ножные кандалы и объявили, что они превосходят стандартную экипировку. Они вызвали самого Гарри Гудини испытать их детище. Однажды утром волшебник прибыл в кабинет директора "Могил" и был там сфотографирован сначала пожимающим руку директора, затем в обнимку со смеющимися изобретателями. Перебрасывался остротами с репортерами. Раздал кучу бесплатных билетов. Тщательно рассмотрел новое изделие. Принял вызов. Конечно, он выберется из этих кандалов на предстоящем вечернем представлении на ипподроме Кейз, но сейчас – пресса, внимание! – он бросает свой собственный вызов: пусть его разденут и запрут в камере, а вещи положат снаружи; когда все уйдут, он исхитрится выйти из камеры и через пять минут явится в кабинет директора полностью одетый. Директор колебался. Гудини выразил удивление. Все-таки он, Гудини, принял вызов надзирателей без колебаний. Быть может, господин директор не уверен в собственной тюрьме? Репортеры взяли его сторону – еще бы! Зная, какой бифштекс сделают из него газеты, если он откажется соответствовать, директор согласился. Он верил в надежность своих клеточек. Стены его кабинета были бледно-зелеными. Фотографии матери и жены стояли на столе. Коробка сигар и графин ирландского виски. Добавьте к этому новый телефон. С говорилкой в одной руке и с наушником в другой директор выглядел весьма значительным перед прессой.

Некоторое время спустя совершенно обнаженного Гудини провели через шесть пролетов вверх в "Галерею убийц" на верхнем ярусе тюрьмы. Дирекция была не лыком шита: здесь было меньше клиентов, и предполагалось, что камеры абсолютно надежны. Надзиратели заперли Гудини в пустой клетке. Его одежда аккуратной кучкой была сложена на галерее вне досягаемости. Затем стража и репортеры удалились и отправились по уговору в директорский кабинет. Гудини в различных укромных местах собственной персоны пронес маленькие стальные проволочки и кусочки пружины. Сейчас он провел ладонью вдоль подошвы левой ноги и из трещинки на мозоли, что на левой пятке, извлек полоску металла в четверть дюйма шириной и полтора дюйма длиной. Из густых его волос явилась на свет жесткая проволочка, которую он присобачил к железочке на манер ручки. Он просунул руку через решетку, вставил импровизированный ключ в замок и медленно стал крутить его по часовой стрелке. Дверь клетки качнулась и открылась. В этот момент Гудини осознал, что прямо напротив через мрачную пещеру камера ярко освещена и обитаема. Сидевший там заключенный пристально смотрел на него. Широкое плоское лицо его со свинячьим носом, растянутый рот и глаза, неестественно яркие и большие. Линия гладко зачесанных назад волос образовывала на лбу странный полумесяц. Иллюзионист Гудини подумал, что это лицо подставной куклы чревовещателя. Он сидел за накрытым скатертью столом с остатками шикарной жратвы. Пустая бутылка из-под шампанского горлышком была всунута в ведерко со льдом. Железная койка покрыта стеганым одеялом и разбросанными подушками. Шкаф эпохи Регентства стоял у каменной стены. С балки потолка свешивался абажур от Тиффани. Гудини не мог оторваться. Камера сверкала, как сцена, в вечном сумраке этой пещерной тюряги. Узник встал и махнул ему весьма величественным жестом, широкий рот еще более растянулся в подобии улыбки. Гудини быстро начал одеваться. Подштанники, брюки, носки, подвязки, обувь. Через пролет напротив узник приступил к раздеванию. Гудини надел нижнюю рубашку, сорочку, воротничок, завязал галстук, воткнул булавку. Щелчок – подтяжки! Теперь – пиджак! Узник был теперь гол, как только что Гудини. Он приблизился к решетке и в сокрушительно непристойной манере стал бить в нее бедрами и просовывать пенис. Гудини ринулся прочь по галерее.

Гудини решил никому не говорить об этой престраннейшей конфронтации. На торжестве по поводу его тюремного подвига он был непривычно тих и даже как бы подавлен. Даже очереди в кассы после

газетных репортажей не оживили его. Эскапада с ножными кандалами, на которую понадобилось ему меньше двух минут, вообще не принесла никакого удовольствия. Прошли дни, прежде чем он догадался, что тот гротескный мим в "Галерее убийц" был не кто иной, как Гарри Кэй Фсоу Люди, не уважавшие его искусства, глубоко огорчали Гудини. Он пришел к выводу, что все они без исключения принадлежат к высшим классам. Они разрушали смысл его жизни и заставляли чувствовать себя дураком. Чего греха таить, он был честолюбив, любое развитие техники лишало его покоя. В жалких рамках сцены он творил свои чудеса и вызывал благоговение низов общества, а тем временем настоящие мужчины начинали поднимать в воздух самолеты и разгоняли автомобили до скорости 60 миль в час. Явился такой деятель, как Рузвельт, и атаковал испанцев на холме Сан-Хуан, и послал в бой флот белых кораблей, дымивших на полнеба, флот боевых судов, белых, как его зубы. Богатые знали, что важно, а на Гудини они смотрели как на ребенка или придурка. Между тем бесконечная тренировка, которую он навязал сам себе, его стремление к совершенству в своем деле отражали американский идеал. Он поддерживал свой атлетизм. Не курил, не пил. Ни одного лишнего фунта. Мощь. Напрягая мускулы живота, он с улыбкой приглашал любого желающего влепить ему панч любой силы. Колоссальная мускулатура, ловкость и профессиональная отвага. Для богатеньких же все это было чепухой.

Новинкой в его программе была эскапада, в которой он освобождался из банковского сейфа, а минуту спустя в этом же сейфе оказывался скованный наручниками его ассистент, которого публика только что видела на сцене. Гигантский успех. Однажды вечером перед представлением антрепренер сказал Гудини, что их приглашает сама миссис Стивезант-Рыбчик с 78-й улицы, приглашает выступить у нее на балу. Миссис Рыбчик принадлежала к Четырем Сотням. Она была знаменита своим остроумием. Представьте, однажды она дала "Бал детского лепета". Сейчас она устраивала бал в память своего друга Стэнфорда Уайта. Являясь другом, он был и архитектором ее дома. Он построил ей дом в стиле Дворца дожей. Дож, господа, это шеф городской управы в Генуе и в Венеции. У меня нет ничего общего с людьми этого сорта, сказал Гудини своему антрепренеру. Исполнительный антрепренер сообщил миссис Рыбчик, что мистер Гудини отсутствует в наличии. Она удвоила гонорар. Бал был первым событием нового сезона. Около девяти вечера Гудини подъехал к ее дому в наемном "пирс-эрроу". Его сопровождали антрепренер и ассистент. За ними следовал грузовик с реквизитом. Кортежу указали на задний подъезд.

Гудини не знал, что миссис Стивезант-Рыбчик кроме него пригласила еще полностью шоу из цирка Барнума и Бейли. Она любила ошарашить своих чистоплюев. Гудини был проведен в своего рода комнату для ожидания, где его вдруг окружила толпа уродцев. Все они знали Гудини и мечтали хотя бы дотронуться до него. Твари с чешуйчатой переливающейся кожей и кистями рук, прикрепленными прямо к плечам. Карлики с телефонными голосами. Сиамские близнецы-сестрички, тянувшие друг друга в разные стороны. Тяжеловес, никогда не снимавший страшные-стальные круги со своих грудей. Гудини снял крылатку, цилиндр, белые перчатки и передал все это своему ассистенту. Затем упал в кресло. Чудища, шепелявя и плюясь, тянулись к нему.

Между тем комната сама по себе была очень хороша: с резным деревянным потолком и фламандскими гобеленами, изображавшими Актеона, разрываемого псами.

На заре своей, так сказать, карьеры Гудини работал в маленьком цирке на западе Пенсильвании. Чтобы вернуть самообладание, Гудини вспомнил этот цирк и призвал на помощь верность своему жанру. Тут одна карлица отделилась от остальной своры и заставила всех отступить на несколько шагов. Гудини узнал выдающуюся личность — Лавинию Уоррен, вдову Генерала Тома Большой Палец, самого знаменитого карлика всех времен. Лавиния Уоррен Большой Палец была одета в сногсшибательное платье, предоставленное ей миссис Рыбчик: предполагалась шутка над соперницей сегодняшней хозяйки миссис Уильям Астор, которая появлялась точно в таком же туалете прошлой весной. Лавиния Большой Палец и причесана была под леди Астор и украшена сверкающими копиями асторовских брильянтов. Лавинии

было под семьдесят, она несла себя с достоинством. После их свадьбы, полсотни лет назад, она и Генерал Том были приняты в Белом доме президентом Линкольном с супругой. Гудини чуть не плакал. Лавиния больше не работала в цирке, но для этого вечера приехала в Нью-Йорк из Бриджпорта, где у нее был дом в старом стиле. Поддержание дома влетало в копеечку, потому вдова и взялась за эту малоприглядную работу. Она жила в Бриджпорте, чтобы быть поближе к могиле своего мужа, чья память была увековечена монументальной колонной на кладбище Маунтейн-гроув. Рост ее — два фута. Она приблизилась к коленям Гудини. С возрастом ее голос стал ниже, и сейчас она говорила как нормальная двадцатилетняя девушка. Такие блестящие голубые глаза, серебряные волосы и чудеснейшие лучики морщинок на белой коже. Она напомнила Гудини его маму. Ну-ка, малый, кинь пару-тройку фокусов для нас, сказала Лавиния.

Гудини позабавил цирковой люд простенькими трюками и ловкостью рук. Положил в рот бильярдный шар, закрыл рот, затем, естественно, открыл его шар исчез. Тогда он снова закрыл рот и, открыв его, на этот раз вынул оттуда бильярдный шар. Воткнул швейную иглу в щеку и вынул ее изнутри. Раскрыл ладонь и произвел на свет живого цыпленка. Вытянул из уха поток цветного шелка. Уродцы пришли в восторг. Они аплодировали и смеялись. Гудини встал и заявил своему менеджеру, что не будет выступать для миссис Стивезант-Рыбчик. Антрепренер бросился с увещеваниями. Гудини распахнул дверь во внутренние покои. Блеск хрусталя ослепил его. Он был в огромном бальном зале Дворца дожей. Струнный оркестр наяривал с балкона. Бледно-красная драпировка обрамляла окна-фонари. Четыре сотни народу вальсировало на мраморном полу. Прикрыв ладонью глаза, Гудини увидел миссис Рыбчик собственной персоной. Бесценные перья поднимались над кучей ее волос, веревки жемчугов раскачивались на шее и бились на грудях, остроумие лопалось на ее губах, подобно пузырям эпилептика.

Несмотря на свои опыты, Гудини так и не развил в себе то, что мы называем "политическим сознанием".

Он не мог сделать выводов из своих оскорбленных чувств. И до конца дней своих так и не осознал своего предназначения, не мог представить себе свою жизнь как отражение революционных событий времени. Он был еврей. Настоящее имя — Эрих Вайс. Он был страстно влюблен в свою древнюю матушку, жившую вместе с ним в типичном для Нью-Йорка кирпичном буром доме, так называемом "браунстоуне", на 113-й улице, Уэст. Как раз в Америку прибыл Зигмунд Фрейд, чтобы прочесть серию лекций в университете Кларка, в Вустере, штат Массачусетс, и, значит, Гудини предназначено было стать вместе с Элом Джолсоном[3]. Конечно, Америка не сразу приняла Фрейда. Горстка профессиональных психиатров понимала его значение, но для большинства публики он был немец-перец-колбаса, эдакий умник, проповедующий свободную любовь и пользующийся научными словами специально для того, чтобы говорить "пошлости". По крайней мере десятилетие должно было пройти, пока Фрейд не отомстил и не увидел, как его идеи начали разрушать сексуальную жизнь в Америке — навсегда.

Фрейд прибыл в Нью-Йорк на ллойдовском лайнере "Джордж Вашингтон". Его сопровождали два последователя и помощника — Юнг и Ференци. На пристани их встретили два молоденьких фрейдиста, доктора Эрнест Джонс и Эй Эй Брилл. Компания обедала в Хаммерстайновском Саду-на-Крыше. Пальмы в кадках. Пианино и скрипка дуэтом играли "Венгерскую рапсодию" Листа. Фрейдисты без устали разговаривали вокруг Фрейда, то и дело поглядывая на него, чтобы оценить его настроение. Он ел кефир. Брилл и Джонс играли роль хозяев. В последующие дни они показали Фрейду Центральный парк, музей "Метрополитен" и китайский квартал. Китайцы, как кошки, загадочно взирали на Фрейда из темных лавчонок. Стеклянные шкафы с орехами "литчи". Компания отправилась и в кинематограф — развлечение, вошедшее в моду по всему городу. Белый дым поднимался из ружейных стволов, мужчины, намазанные губной помадой и румянами, падали навзничь, сжимая свои грудные клетки. По крайней мере, думал Фрейд, это беззвучно. Шум — вот что угнетало его в Новом Свете. Ужасный грохот ломовиков, лязганье и скрежет трамваев, сигналы автомобилей. За рулем открытого "мэрмона" Брилл возил фрейдистов по Манхэттену. В одном месте на Пятой авеню Фрейд забеспокоился: ему показалось, что кто-то за ним наблюдает; подняв глаза, он увидел детей, глазевших на него с верхушки двухъярусного автобуса.

Брилл повез компанию в Нижний Ист-Сайд с его театриками, тележками разносчиков и надземными поездами. Устрашающая надземка грохотала мимо окон, за которыми, как можно было предположить, живут люди. Окна тряслись, тряслись и сами дома. Фрейд столкнулся с необходимостью облегчиться, но никто, очевидно, не мог им показать, где найти нужную общественную возможность. Пришлось зайти в ресторан и заказать сметану с овощами, чтобы Фрейд смог сбегать в сортирчик. Затем снова в авто; они подъехали к углу, чтобы понаблюдать, как работает уличный художник. Некий старик одними лишь ножницами вырезал из бумаги миниатюрные силуэтные портреты и брал за это гроши. В этот момент позировала старику красивая, хорошо одетая женщина. Легковозбудимый Ференци, маскируя свое восхищение прехорошенькой дамочкой, декларировал коллегам, что он потрясен и счастлив найти древнее искусство силуэта расцветающим на асфальтах Нового Света. Фрейд, сжав зубами сигару, не сказал ничего. Мотор работал вхолостую. Один лишь Юнг заметил Малышку в передничке, стоявшую чуть позади молодой леди и державшую ее за руку. Малышка глянула на Юнга, и бритоголовый Юнг, который начал уже к тому времени спорить по некоторым решающим проблемам со своим любимым Ментором, посмотрел сквозь свои толстые в стальной оправе очки на чудное дитя и испытал то, что он обозначил бы как некий "шок узнавания", хотя и не мог объяснить, почему и что это такое. Брилл нажал педаль сцепления, и компания продолжила свой тур. Их конечной целью был Кони-Айленд, довольно далеко от города. Они прибыли туда под вечер и тут же включились в странствие по трем огромным развлекательным паркам – начали со стипль-чеза, затем попали в Страну Мечты и наконец, уже к ночи, прибыли в Луна-парк, к башням и куполам, очерченным электрическими пузырьками. Почтенные визитеры покатались на горбатых горках "ну-ка догони", а Фрейд и Юнг даже проплыли вместе в одной лодке через Тоннель Любви. День подошел к концу, лишь когда Фрейд устал и почувствовал приступ той дурноты, которая стала его недавно посещать в присутствии Юнга. Через несколько дней компания в полном составе отправилась в Вустер на лекции. Когда Фрейд закончил цикл лекций, его убедили совершить экспедицию к чуду естественной природы Ниагарскому водопаду. Они прибыли туда пасмурным днем. Тысячи молодоженов стояли парочками, наблюдая великие каскады. Водяная пыль, подобно перевернутому дождю, вздымалась над местностью. С одного берега на другой была перекинута проволока, и по ней гулял какой-то маньяк в балетных тапочках и трико, с зонтиком-балансиром. Фрейд потряс головой. Позже компания зашла в Пещеру Ветров. Здесь на подземном переходном мостике гид отодвинул всю остальную публику назад, а Фрейда взял под локоть. Дайте-ка папаше пройти вперед, сказал гид.

Пятидесятитрехлетний доктор решил в этот момент, что Америки с него достаточно. Вместе с учениками он отплыл назад в Германию на "Кайзере Вильгельме Великом". Он действительно не смог привыкнуть к пище и нехватке общественных возможностей. Он убедился, что путешествие разрушило ему и желудок и мочевой пузырь. В целом население показалось ему мощным, наглым и грубым. Вульгарное оптовое потребление европейского искусства и архитектуры, невзирая на период или страну, он нашел устрашающим. Он усмотрел в нашем беззаботном смешении сверхбогатства и сверхбедности хаос энтропической европейской цивилизации. Не без удовольствия он передохнул в своем тихом уютном венском кабинете. Америка – это ошибка, сказал он Эрнесту Джонсу, гигантская ошибка. К тому времени немало людей на этих берегах готовы были с ним согласиться. Миллионы безработных. Счастливчики, заполучившие работу, имеют наглость объединяться в союзы. Суды ликуют, полиция колотит профсоюзников по башкам, их лидеры в тюрьме, рабочие места заняты другими. Профсоюз — это дьявольский промысел. О рабочем человеке позаботятся не агитаторы, а христиане – те, кому господь в его бесконечной мудрости дал контроль над собственностью в этой стране. Если никто сему не внимал, вызывались войска. Оружие было пущено в ход повсеместно. В угольных копях шахтер получал доллар и шестьдесят центов при условии трех тонн ежедневной выработки. Компания держала его в своих лачугах и кормила из своих магазинов. Негры на табачных плантациях вкалывали по тринадцать часов в день, получая по шесть центов в час. Дети не страдали от дискриминации. Работодатели весьма ценили детвору. В отличие от взрослых они не жаловались. Эдакие эльфы, маленькие проказники. Существенной проблемой, конечно, была их выносливость. Они были проворнее взрослых, но к концу рабочего дня резко снижали производительность труда. В эти часы на консервных фабриках и заводах нет ничего легче, чем потерять пальцы, покалечить руку, сломать ногу. Детей, конечно, следует призывать к внимательности. В шахтах дети работали на откатке угля и иногда задыхались в штреках. Естественно, им рекомендовали в опасных случаях проявлять сообразительность. Одна сотня негров в год линчевана. Одна сотня шахтеров сгорела заживо. Одна сотня детей искалечена. Казалось, существовала квота на эти дела. Определенная квота и для смерти от истощения. Нефтяные тресты, банковские тресты, железнодорожные тресты, мясные тресты, стальные тресты – тресты повсюду. Стало модным почитать бедность. Во дворцах Нью-Йорка и Чикаго закатывали "балы нищих". Гости приходили, одетые в тряпье, ели из оловянных тарелок и пили из дешевых кружек. Залы были декорированы под шахты с креплениями из бревен, с рельсами и шахтерскими лампочками. Фирмам театральных декораций давали заказы на трансформацию садов в грязные фермы, а столовых – в хлопковые фабрики. Гости курили сигарные окурки, которые разносились на серебряных подносах. Артисты выступали в негритянском гриме. Одна чикагская аристократка пригласила гостей на хозяйственный двор. Гостей одели как мясников. Они пировали и танцевали, пока вокруг на блоках двигались окровавленные туши. Кишки вываливались на пол. Это, конечно, был благотворительный бал.

Однажды после визита в "Могилы" Эвелин Несбит случайно заметила через заднее оконце электрического экипажа, что впервые никто из репортеров ее не преследует. Обычно Херстовские и Пулицеровские псы гнали ее сворой.

Подчиняясь импульсу, она сказала шоферу свернуть к Ист-Сайду. Слуга мамани Фсоу позволил себе нахмуриться. Эвелин как бы не заметила. Машина шла по городу, мотор жужжал. Вторая половина дня. Тепло. Черный "Детройт электрик" на жестких резиновых шинах. Через некоторое время Эвелин увидела разносчиков и тележки Нижнего Ист-Сайда.

Темноглазые лица заглядывали в экипаж. Мужчины улыбались — золотые зубы из-под усищ. Дорожные рабочие сидели в жаре на обочине тротуара и обмахивались своими "дерби". Мальчишки в брючатах гольф неслись рядом с машиной, таща на своих плечах увесистые грузы. Эвелин видела магазинчики с вывесками на иврите. Древние буквы напоминали какие-то сооружения из костей. Пожарные лестницы на домах были похожи на ярусы в тюремных блоках. Дряхлые одры в своих ярмах тоже поднимали головы, чтобы взглянуть на леди. Старьевщики ворочали двухколесные тележки с хламом, женщины торговали хлебами из корзин. Все смотрели на леди. Шофер нервничал. На нем была серая ливрея с черными кожаными отворотами. Он вел сверкающий экипаж сквозь узкие грязные улицы. Девочка в передничке и в ботиночках с высокой шнуровкой, сидя на краю тротуара, копошилась в какой-то мерзости, играла. Малышка с грязной рожицей. "Остановите машину", – сказала Эвелин. Шофер обежал вокруг и открыл ей дверцу. Эвелин ступила вниз, на улицу. Она присела. У девочки были прямые черные волосы, охватывающие ее голову будто шлем. Оливковая кожа и глаза – темно-карие, почти черные. Она взирала на Эвелин без всякого любопытства. Никогда прежде Эвелин не видела столь красивое дитя. Вокруг ее запястья была обмотана какая-то бечевка, она была к чему-то привязана. Эвелин встала и, проследив направление бечевки, увидела лицо явно тронутого старика с обкорнанной седой бородой. Конец веревки был обмотан вокруг его талии. На нем был вытертый пиджак. Один рукав оторван. Однако же воротничок с галстуком. Он стоял на тротуаре перед тележкой со щитом, обтянутым черным бархатом, к которому приколоты были силуэтные портреты. При помощи одних только маленьких ножниц, кусочка бумаги и капли клея он мог запечатлеть ваш образ, вернее его контуры. Все произведение на темном фоне и в рамочке стоило лишь пятнадцать центов. Пятнадцать центов, леди, сказал старик. Почему вы привязываете малышку за веревку, спросила Эвелин. Старик выпучился на ее наряд, потом захохотал, затряс головой и забормотал что-то непонятное. Он отвернулся от леди. Между тем вокруг остановившегося авто собралась толпа. Высокий рабочий выступил вперед и уважительно снял шапку перед тем, как перевести Эвелин то, что наговорил тронутый старик. "Звиняюсь, миссус, так Малышка есть не украденная из него". Эвелин чувствовала, что переводчик кое-что дипломатично смягчил Старый художник с горьким хохотом выпятил подбородок в сторону Эвелин, очевидно продолжая свои недипломатичные высказывания. "Он говорит, богатая леди не бываеть знать, что девочки в трущобах есть украдены каждый день из их родителей и проданы в рабство". Эвелин была потрясена. "Этому ребенку не больше десяти", – сказала она. Старик тогда стал кричать и показывать через улицу на какой-то жилой дом, поворачивался, и показывал на угол, и тыкал через плечо на другой угол, и все кричал. "Звиняюсь, миссус, сказал высокий рабочий, – замужние женщины, дети... эти мерзавцы на кого угодно наложат лапу. Они их спортят, так? опозорят, так? звиняюсь, женщина становится бродяжкой, ведь верно? Как раз на этой самой улице такие есть позорные дома, миссус". – "Где же родители ребенка?" – резко спросила Эвелин. Старик сейчас обращался к толпе, колотил себя в грудь, вздымал палец в небо. Женщина в черной шали качала головой и постанывала от сочувствия. Старик сорвал шапку и потащил себя за волосы. Даже высокий рабочий забыл переводить, так он был тронут происходящим. "Звиняюсь, миссус, этот человек есть отец ребенка. — Он слегка подергал художника за оторванный рукав. — Собственная жена, чтобы им кушать, предлагала себя, а он ее турнул из дома и сейчас плачет, как по покойнице, звиняюсь Его волос стал белый за один месяц. Он имеет тридцать два года возраст, звиняюсь, миссус".

Старик, всхлипывая и кусая губы, повернулся к Эвелин и увидел, что она тоже глубоко тронута. Все стоявшие сейчас на углу на какой-то момент разделили его несчастье — Эвелин, ее шофер, рабочий, женщина в шали, зеваки. Потом кто-то двинулся дальше. Отошел другой Толпа рассеялась. Эвелин вернулась к Малышке, еще сидевшей на краю тротуара. Она присела, глаза ее увлажнились, она заглянула в лицо Малышке, которая и не думала плакать. "Эй, тыквочка", — сказала Эвелин.

Так внезапно Эвелин погрузилась в жизнь тридцатидвухлетнего одряхлевшего художника и его дочери. У него было длинное еврейское имя, которое ей не под силу было произнести, и она стала называть его так, как звала Малышка: Тятей. Тятя был президентом Социалистического содружества художников Нижнего Ист-Сайда. Гордый человек. Эвелин обнаружила, что невозможно приблизиться к нему иначе, как заказав силуэт. За две недели старик произвел сто сорок силуэтных портретов Эвелин Несбит. За каждый она платила ему 15 центов. Иногда она заказывала портрет Малышки. Тятя произвел их около сотни и потратил на них больше времени, чем на портреты благородной леди. Потом Эвелин попросила сделать двойной портрет – она с Малышкой. Старик тогда посмотрел ей прямо в лицо, страшное иудейское осуждение, казалось, вспыхнуло в его глазах. Тем не менее он сделал то, о чем его просили. Время шло, и для Эвелин стало ясно, что, хотя люди и останавливаются поглазеть на работу старика, мало кто изъявляет желание увековечиться. Он начал создавать все больше и больше сложных силуэтов, полнофигурных и с фонами: Эвелин, Малышка, трудолюбивые ломовые лошади, пятеро мужчин в жестких воротничках, сидящие в открытой машине. Своими ножницами он умудрялся показать не только очертания, но и структуру предметов, настроение персонажей, характеры, отчаяние. Большинство этих вещей сейчас находится в частных коллекциях. Эвелин приезжала на уголок ежедневно и проводила там столько времени, сколько могла. Она одевалась так, чтобы по возможности не привлекать внимания. Следуя полезным урокам своего мужа Фсоу, она платила шоферу огромные деньги за его благодушие и сочувствие. Хроникеры светских сплетен тем временем связывали ее исчезновение с каким-то безрассудным романом, по крайней мере дюжина мужчин пристегивалась к ее имени. Чем меньше ее видели, тем пышнее разрасталась клевета. Ей было все равно. Она ускользала к своей новой любви на Нижний Ист-Сайд. Она покрывала голову шалью, а на корсет надевала траченный молью черный свитер преданный шофер прятал эти вещички под ковром в ее экипаже. Она подходила к Тяте, позировала для очередного силуэта, а глаза ее ликовали, пировали, глядя на малое дитя на другом конце веревки. Она будто бы рассудок потеряла. Все это время у нее не было ни одного мужчины, если не считать безумного мужа Гарри Кэй Фсоу Впрочем, она заметила тайного воздыхателя, молодого человека с высокими скулами и светлыми усиками. Он следовал за ней повсюду. Впервые она увидела его на Тятином углу: он топтался на другой стороне улицы и немедленно отвернулся, поймав ее вызывающий взгляд. Она знала, что свекровь наняла частных детективов, но он был слишком застенчив для сыщика. Ясно, что он разузнал чтото о ее повседневной жизни, но не решался даже приблизиться, такой застенчивый. Его внимание не пугало ее, напротив, она чувствовала себя даже как бы под некоторой защитой. Восхищение его было очевидным, и это как будто бы соответствовало интенсивности ее собственных чувств в это время. Ночами она грезила о Малышке и просыпалась с мыслями о ней. Планы на будущее фейерверками вспыхивали в ее сознании и осыпались, чтобы снова взлететь. Она была полна тревоги, измучена, возбуждена и безотчетно счастлива. Конечно, она будет свидетельствовать в пользу мужа и сделает это как надо. Конечно, она надеялась, что его признают виновным и присудят к пожизненному заключению.

Малышка в передничке брала ее за руку, но ни разу не сказала ей ни слова. Тятя, прямо скажем, тоже

был не особенно разговорчив. Больше Эвелин уже никогда не слышала никаких сетований или жалоб. Она понимала, что старик с его гордыней давно выкинул ее куда-то вовне, ибо он даже не ощущал, что ее внимание к Малышке было ему подмогой. Однажды Эвелин пришла позировать и вот тебе на! — не нашла на углу ни папы, ни дочки. К счастью, она уже разузнала, где они живут — на Хестер-стрит, за общественной баней. Она поспешила туда, не смея даже думать, что могло случиться. Хестер-стрит кишела торговцами овощами, фруктами, цыплятами, хлебами, тележками, покупателями, мусорными баками, постельным бельем, свисающим с пожарных лестниц, — этим она кишела, если всем этим можно кишеть. Эвелин полетела по железным лестницам, часто дыша взбежала в исключительно вонючий коридор. Тятя и Малышка жили в двух маленьких комнатках на задах. Она постучала. Постучала снова. Дверь приоткрылась. Щель. Цепочка. "Что случилось? — выдохнула Эвелин. — Дайте мне войти".

Тятя был скандализирован: вот так событие – он перед дамой в одной лишь рубашке, в штанах на подтяжках и в шлепанцах. Он настоял, чтобы дверь осталась открытой, несмотря на вонючий сквознячок, дувший с лестничной клетки. Суетливо он прибрал свою лежанку, бросив сверху какое-то лоскутное одеяло. Малышка лежала на медной кровати в другой комнате. У нее был жар. Комнаты освещались свечкой, так как единственное окно в спальне упиралось в глухую стену. Эвелин подумала, что вся эта квартира не больше ее платяного шкафа. Когда ее глаза привыкли к полумраку, она определила, что здесь царит скрупулезная чистота. Ее приход совершенно ошеломил художника. В колеблющемся мрачном свете он вышагивал взад-вперед, не зная, что предпринять. Схватил сигарету, нервно затягивался, держа ее большим и указательным пальцами, ладонью кверху – на европейский манер. Эвелин настаивала: она побудет с ребенком. Он может спокойно трудиться. Все будет хорошо. В конце концов он согласился, может быть только лишь для того, чтобы избавиться от жуткого напряжения в связи с ее присутствием. Схватив свой стенд, обтянутый черным бархатом, и деревянный чемодан с принадлежностями искусства, он ринулся прочь. Эвелин закрыла за ним дверь. Заглянула в буфетик – несколько чашек и тарелок, что за бедная посуда, откуда такое. Затем она обследовала содержимое комода, постельное белье, внимательно рассмотрела выскобленный добела обеденный стол и стулья. Кучка незаконченных штанишек лежала возле швейной машины с узорчатой железной педалью. Вот след матери. Эвелин вдруг почувствовала чтото вроде родства с пропавшей беспутной Мамкой. В окне спальни отражалась свеча. Медная маленькая кроватка светилась. Девочка смотрела на Эвелин из подушек, не улыбаясь и не говоря ничего. Эвелин сняла шаль и свитер и положила эти вещи на стул. В упаковочном ящике, находившемся возле кровати в роли ночного столика, плотно стояли книги на идиш. Были здесь и англоязычные книги по социализму, на обложках которых могучие пролетарии, взявшись за руки, маршировали вперед, к будущему. Ни один из них не был похож на хилого седовласого Тятю. В квартире не было ни портретов, ни фотографий. Где же зеркало? Боже, здесь не было даже зеркала. В первой комнате Эвелин нашла оцинкованный тазик. Затем принесла с первого этажа ведро воды, подогрела ее на угольной плите, слила в таз и, взяв таз и тоненькое накрахмаленное полотенце, вошла в спальню. Малышка обкрутила вокруг себя и одеяло, и пододеяльник, и простыню. Эвелин мягко все это с нее сняла и посадила девочку на край кровати. Потом она стала снимать с нее ночную сорочку, вбирая в себя, будто солнечную энергию, теплые испарения детского тела. "Теперь встань в тазик", – сказала она и, присев, стала купать Малышку, черпая ладонями воду и нежно протирая смуглые плечики, налитые коричневые орешки сосков, пушистую мягкую попку, худенькие бедра, гладкий склон пузика и малое ее девчачество. Вода с горячего тельца дождем стекала в лохань. Потом Эвелин насухо вытерла девочку полотенцем и надела на нее свежую ночную сорочку, которую нашла в комоде. Сорочка оказалась настолько велика, что Малышка стала смеяться и даже немного шалить. Эвелин разгладила простыню, взбила подушки, устроила девочку в постели и попробовала ее лоб – он был прохладен. Глаза Малышки поблескивали в сумраке. Однако пир для Эвелин еще не кончился. Она стала расчесывать ее черные волосы и трогать ее лицо. Она склонилась над ней, и тут руки Малышки обвились вокруг ее шеи и губы прикоснулись к ее губам.

В этот день Эвелин Несбит решила похитить Малышку, а Тятю, стало быть, предоставить его собственной судьбе. Старый художник никогда не спрашивал ее имени и ничего о ней не знал. Все можно было сделать в два счета. Однако вместо этого дерзостного плана Эвелин почему-то с удвоенной энергией ринулась в семейную жизнь; ежедневно являлась с едой, с бельем, тащила все, что можно было протащить через цензуру мучительной гордыни старика. Ей хотелось стать одной из них. Она втягивала Тятю в разговор. Она научилась даже прострачивать на машинке штанишки. Часами она жила как женщина из еврейских трущоб, а потом из условленного места фсоусовский шофер отвозил ее в отель, и всякий раз она была в отчаянии. Она была так поглощена любовью, что забыла даже о своем любимом и главном занятии: перестала следить за собой и не понимала, к примеру, что случилось с ее глазами, почему она так часто моргает, словно пытаясь очистить склеру от каких-то пятен. Между тем глаза ее постоянно были на мокром месте, а голос слегка охрип от набухания связок. Эвелин Несбит постоянно выделяла влагу счастья.

Однажды Тятя пригласил Эвелин на митинг, устроенный Социалистическим содружеством художников Нижнего Ист-Сайда совместно с семью другими организациями. Предстояло важное событие. Среди ораторов гвоздем программы будет не кто иная, как Эмма Голдмен. Тятя детально объяснил, что, хотя он неизменно противостоит Голдмен, поскольку она есть анархист, а он есть социалист, он также неизменно отдает должное ее личной храбрости и целеустремленности, и вот именно поэтому он пошел на некоторого рода временное соглашение между социалистами и анархистами, хотя бы на один вечер, тем более что собранные средства пойдут бастующим швеям и стачечникам-металлистам Мак-Киспорта, штат Пенсильвания, а также анархисту Франсиско Ферреру, которого собираются казнить в Испании за подстрекательство к всеобщей стачке. За пять минут Эвелин была погружена в бодрящую лингвистику радикального идеализма. Она, конечно, не осмелилась признаться Тяте, что для нее социализм и анархизм еще пять минут назад ничем не отличались друг от друга и что скандально известная дама-оратор пугает ее. Она закуталась в шаль, взяла за руку Малышку, и они поспешили за Тятей, который мощно теперь вышагивал к Рабочему Собранию на 14-й улице, Ист. Разок она все же обернулась, чтобы посмотреть, тащится ли, как обычно, за ней ее застенчивый воздыхатель, и он, конечно же, тащился на полквартала сзади — худая физиономия в тени соломенного канотье.

Темой Эммы Голдмен на этот раз был Ибсен, великий драматург, давший нам своим творчеством великолепное оружие, отточенный инструмент для радикального иссечения общества. Низкорослая и, скажем прямо, малопривлекательная толстуха с тяжеловатой мужской челюстью. Очки в роговой оправе настолько увеличивали ее глаза, что, казалось, она полна ярости и ярится в адрес всего, к чему обращает свой взор. Ошеломляющая витальность, звенящий голос. Для Эвелин впоследствии было облегчением узнать, что Эмма Голдмен, по существу, – просто женщина, маленькая женщина, чье сознание захвачено и унесено величавой, как река, ораторией могущественных идей. Из-за жары и возбуждения, царившего в зале, Эвелин развязала свою шаль и опустила ее на плечи. Присутствовало не меньше сотни людей, они сидели на лавках и стояли вдоль стен, а Эмма Голдмен вещала из-за стола в глубине зала. Напротив нее в дверях стояло несколько полицейских, и в какой-то момент сержант прервал ее, сказав, что она нарушает, что она по заявке должна говорить о драме, а вместо этого толкует все время об Ебсене. Зал разразился хохотом и кошачьим концертом. Сержант испарился. Эмма Голдмен, однако, не присоединилась к веселью: по собственному опыту она знала, как действуют смущенные силы порядка. Она увеличила темп и накал своей речи, глаза ее рыскали по залу, раз за разом останавливаясь на алебастровом лице Эвелин Несбит, которая сидела между Тятей и Малышкой в первом ряду – на почетных местах, полагавшихся Тяте по его статусу президента Социалистического содружества художников Нижнего Ист-Сайда. "Любовь свободна!" – воскликнула Голдмен. Те, кто понимает, что фру Альвинг заплатила слезами и кровью за их духовное пробуждение, отвергают брак как навязанное, никчемное и пустое издевательство. Кое-кто в аудитории, включая Тятю, запричитал: Heт! Нет! Товарищи и братья, неужели вы, социалисты, можете игнорировать двойные путы целой половины человечества? Вы думаете, что общество, которое грабит ваш труд, не навязывает вам своего отношения к женщине? Оно отвергает свободу и этим влечет вас в путы своих предрассудков. Все реформаторы говорят сейчас о белом рабстве, но если белое рабство – это проблема, почему же брак не проблема? Существует ли связь между институтом брака и институтом борделя? При этом слове крики: Позор! Позор! – вспыхнули в зале. Тятя ринулся к своей дочери, зажал ей уши ладонями и огласил воздух воплями протеста. Голдмен воздела руки, призывая к спокойствию. Товарищи, давайте спорить, но давайте соблюдать декорум, чтобы у полиции не было предлога прервать нас. Слушатели, повернувшись к дверям, увидели там уже не меньше дюжины полицейских. Посмотрите правде в глаза, быстро продолжала Голдмен, женщины не могут голосовать, не могут любить того, кого хотят любить, у них нет возможностей для развития их сознания и духовной жизни, товарищи, у них нет ничего! Но почему? Неужели наш гений только в наших матках? Неужели мы не способны писать книги, создавать науку, творить музыку, философию, способствовать улучшению человечества-в конце концов, просто-напросто распоряжаться своими собственными жизнями в духовных бурях бытия? Неужто наша судьба только в физической стороне жизни? Здесь среди нас сидит сегодня одна из самых блистательных женщин Америки, женщина, которую капиталистическое общество принудило искать свой гений исключительно в сексе, и она сделала это, товарищи, да с таким размахом, что Пирпонт Морган и Джон Ди Рокфеллер могли бы позавидовать. И что же? Ее имя стало скандальным, в то время как их имена произносятся с великим почтением лизоблюдами – законодателями этого общества. Эвелин похолодела. Она хотела натянуть шаль на голову, но боялась привлечь к себе внимание. Она сидела сжавшись, глядя в собственные колени. У оратора хотя бы хватило такта не смотреть в ее сторону, пока она все это провозглашала. Аудитория вывертывала себе шеи, пытаясь определить, о ком говорит Голдмен, но вдруг была отвлечена криками из глубины зала. Фаланга синих мундиров ломилась в дверь. Вопль. И сразу зал превратился в ад кромешный. Собственно говоря, так обычно и завершались выступления Эммы Голдмен. Полиция валила по проходу. Анархистка спокойно собирала бумаги в портфель, Эвелин Несбит почувствовала на себе взгляд Тяти и повернулась прямо к свирепому блеску его карающих глаз. Он смотрел на нее как на букашку, которую хоть и надо раздавить, но противно. Старое его лицо словно бы опало в сетке ужасающих новых морщин, он будто был при последнем издыхании, но глаза из глубин древнего черепа отчетливо переводили то, что он шептал на идиш искривленными губами:

"Жизнь моя, ты осквернена курвами". Схватив за руку Малышку, он исчез в толпе. Эвелин не могла двинуться. Свет померк в ее глазах. Рука блуждала в поисках опоры. Знакомый голос тут сказал ей прямо в ухо: "Сюда, идите за мной", – и она почувствовала чью-то стальную хватку. Это была стальная хватка самой Голдмен. Она повлекла ее в маленькую дверцу позади стола президиума, и перед тем, как скрыться за этой дверью, Эвелин, исторгнув из своего слабого горла слабенькую безадресную жалобу, оглянулась и увидела свою блондинистую молодую тень, которая, потеряв обычную застенчивость, яростно пробивала себе путь к ней, к ней. "Я на этом набила руку", – сказала Эмма Голдмен, таща ее вниз по темной лестнице. Ничего особенного, обычный вечер. Лестница вывела их за угол от главного входа в зал. Полицейский фургон прошел мимо, звоня в колокол, и завернул на другую улицу. Пошли, сказала Эмма Голдмен и повела Эвелин в противоположном направлении. Когда Младший Брат Матери вывалился наконец на улицу, он увидел две женские фигуры под фонарями, пересекающие улицу в двух кварталах отсюда. Он поспешил за ними. Вечер прохладный. Шея в поту – б-р-р. Парусиновые брючата хлопали по ветру. Он приблизился к женщинам на полквартала и несколько минут шел на таком расстоянии. Внезапно они свернули и поднялись по лестнице в какой-то кирпичный дом. Он бросился сломя голову и, подбежав, увидел, что это меблирашки. Младший Брат Матери вошел внутрь и тихонечко поднялся по лестнице, не зная, какую комнату искать, но в полной уверенности, что найдет. На втором этаже он прянул в какую-то затененную нишу. Мимо с тазиком в руках деловито протрусила в туалетную Эмма Голдмен. Он услышал звук льющейся воды и увидел, что дверь одной из комнат открыта. Это была маленькая комнатенка. Заглянув в дверь, он увидел Эвелин Несбит, сидевшую на кровати, лицо в ладонях. Рыдания сотрясали ее тело Увядшая сирень – такие были стены. Одна лишь только ночная лампочка у кровати давала свет. Услышав, что Голдмен возвращается, Младший Брат бесшумно метнулся вдоль комнаты и скользнул в шкаф. Дверь шкафа он, конечно, оставил слегка открытой.

Голдмен ухнула таз с водой на ночной столик и помахала вафельным полотенчиком. "Бедная девочка, — вздохнула она, — бедное дитя. Почему бы мне не освежить тебя чуть-чуть? Я — нянька, ты знаешь, именно как нянька я и зарабатываю на жизнь. Я следила за твоим делом по газетам. С самого начала я почему-то восхищалась тобой. Я не могла понять почему". Она расшнуровала сапожки Эвелин и стащила их. "Почему

бы тебе не поднять ножки на постель? Ну вот, вот так". Эвелин легла на подушки. Сгибами кистей она терла глаза. Потом взяла полотенце из рук Голдмен. "Ах, я ненавижу слезы. Слезы так уродуют". Зарыдала в полотенце. "Все-таки ты, — продолжала Голдмен, — ведь ты лишь умная проституточка, ничего больше. Ты покорно приняла условия, в которых оказалась, и в них ты восторжествовала. Но что это была за победа? Победа проститутки. И чем же ты утешилась? Ты утешилась в цинизме, в унижении, в презрении к мужчинам. Почему же, думала я, я питаю столь сильное сестринское чувство к этой женщине? Ведь я же всегда отвергала всякое порабощение! Я была свободна. Дралась всю жизнь, чтобы быть свободной. Ни один мужчина не пролез ко мне в постель без любви. Я всегда сама брала их по любви, как свободное человеческое существо, мы всегда были равны в постели, любовь и свобода — в равных пропорциях. Я, может быть, переспала с большим числом мужчин, чем ты. А? Я любила больше, чем ты. Спорим? Пари это шокировало бы тебя, если бы ты до конца узнала, насколько свободной я была, в какой свободе я прожила свою жизнь. Потому что, как все шлюхи, ты не любишь свободы, ты любишь собственность. Ты — творение капитализма, чья этика так уродлива и лицемерна, что твоя красота становится не более чем разменной монетой, да еще к тому же фальшивой, бессмысленная и холодная красота".

Вряд ли другие слова могли так быстро остановить слезы Эвелин. Она опустила полотенце и теперь взирала на маленькую приземистую анархистку, которая, ораторствуя, мерила комнату взад-вперед. "Так почему же я чувствовала столь тесные узы между нами? Ты — воплощение всего, что я презираю в женщине. Когда я увидела тебя на моем митинге, я была готова поверить в мистическую подоплеку событий. Ты явилась потому, что в круговращении вселенной твоя жизнь должна была пересечься с моей. Сквозь грязь и низменную суть твоего существования сердце привело тебя к анархическому движению".

Несбит покачала головой. "Боюсь, что вы не понимаете", – сказала она. Слезы снова наполнили ее глаза. Она стала рассказывать Голдмен о крошке в передничке, о Тяте и о своей тайной жизни в трущобах "И вот теперь я потеряла их, — сказала она, — пропал мой постреленок". Горькие рыдания Голдмен уселась в кресло-качалку возле кровати и положила руки на колени. "Олл-райт, если бы я не указала на тебя, твой Тятя не убежал бы, но что из того? Не волнуйся. Истина лучше лжи. Если ты отыщешь их снова, тебе не нужно будет ничего скрывать, между вами установятся честные отношения. А не найдешь, ну что ж, быть может, так будет лучше. Кто-то из нас живет настоящей жизнью, а кто-то лишь винтик в судьбе другого, лишь повод для чужой судьбы. Но кто и как? Ответа найти мы не можем. Такова моя точка зрения. Ты знаешь, в моей жизни был момент, когда я пошла на улицу продавать свое тело. Я никому до тебя не говорила об этом. К счастью, во мне тогда опознали новичка и прогнали домой. Это было на Четырнадцатой улице, вот именно на Четырнадцатой. Я дрожала от страха и прикидывалась то проституткой, то просто прогуливающейся девицей, и, конечно, никого мне не удалось одурачить. Сомневаюсь, что имя Александра Беркмана что-нибудь тебе говорит. – Эвелин покачала головой. – Когда нам с Беркманом было чуть за двадцать, мы были любовниками, но прежде всего мы были революционеры. Тогда случилась стачка в Питтсбурге. На стальном заводе мистера. Карнеги. Ну-с, мистер Карнеги порешил раздавить профсоюз. С этой целью он прежде всего драпанул на отдых в Европу и поручил своему главному подхалиму, этому презренному подонку Генри Клею Фрику, доделать все за него. Последний импортировал целую армию "пинкертонов", то есть скэбов, то есть штрейкбрехеров. Рабочие протестовали против сокращения заработной платы. Завод стоял на берегу реки Мононгахилы , и "пинкертоны" прибыли водным путем и высадились прямо к заводу. Решающая битва. Настоящая война. Когда это кончилось, оказалось, что десять человек убиты, а раненых дюжины и дюжины, не счесть. "Пинкертоны" отступили. Тогда у Фрика появилась возможность обратиться за помощью к правительству, и он окружил рабочих частями милиции штата. Вот к этому моменту мы с Беркманом и решились на наше attentat [4]. Мы готовы были отдать наши сердца осажденным трудящимся. Мы внесем в их борьбу революционный запал. Мы убьем Фрика. Однако мы жили в Нью-Йорке, и у нас не было ни гроша. Нужны

были деньги на железную дорогу, ну и на пистолет, конечно. Вот тогда-то я и надела вышитое белье и отправилась на Четырнадцатую улицу. Один старик дал мне десять долларов и прогнал домой. Остальные деньги я одолжила. Однако я продалась бы, я сделала бы это, если бы пришлось. Для attentat. Для Беркмана и революции. Вернее – наоборот, для нее и для него. Я обняла его на станции. Он собирался застрелить Фрика и не пощадить собственной жизни. Я долго бежала за отходящим поездом. Увы, денег на второй билет не хватило. Он сказал: для этого дела достаточно и одной персоны. Он вломился в кабинет Фрика в Питтсбурге и шарахнул по ублюдку три раза. В шею. В плечо. Еще куда-то. Кровь. Фрик дергался на полу. Вбежали люди и отобрали пистолет. Он выхватил нож. Ножом Фрика в ногу. Они отобрали нож. Он сунул что-то себе в рот. Они пригвоздили его к полу. Разжали ему челюсти. Капсула гремучей ртути. Все, что ему нужно было сделать, – разжевать капсулу, и тогда взорвалась бы вся комната и все присутствующие. Они запрокинули ему голову. Вытащили капсулу. Они из-би-ли его до потери сознания". Эвелин села в кровати, подтянув ноги к груди. Голдмен уставилась в пол. "Восемнадцать лет он провел в тюрьме, – сказала она, – и часть этого срока в одиночке, в настоящей темнице. Как-то раз я навестила его. На большее меня не хватило, после этого я ни разу не была там. Ну, а ублюдок Фрик между тем выжил и стал героем, публика отвернулась от трудящихся, и стачка была сорвана. Говорили, что мы отбросили американское рабочее движение на сорок лет назад. Один почтеннейший анархист, мистер Мост, поносил Беркмана и меня в своей газете. Тогда я хорошенько подготовилась к очередному митингу, я купила себе настоящий конский хлыст. Я высекла Моста на митинге перед всеми, а потом сломала хлыст и швырнула ему в лицо. Беркман вышел только в прошлом году. Облысел. Пожелтел как пергамент. Мой любимый, мой юноша ходит скрюченный в три погибели. Глаза как шахты. Конечно, сейчас мы только друзья, наши сердца уже не бьются в унисон. Что он вынес в той тюрьме, я могу, знаешь, только себе представить. Мрак, сырость, связывают, швыряют на пол в собственные испражнения". Рука Эвелин потянулась к пожилой женщине, Голдмен взяла ее и сильно сжала. "Мы обе знаем, правда, что это значит, когда твой мужчина в тюрьме, а?" Две женщины смотрели друг на дружку. Несколько секунд молчания. "Конечно, твой – извращенец, паразит, кровосос, грязный, отвратительный сибарит", – сказала Голдмен. Эвелин рассмеялась. "Безумный хряк, – сказала Голдмен, – вывернутые и сморщенные поросячьи мозги". Теперь они обе смеялись. "О да, я ненавижу его", – вскричала Эвелин. Лицо Голдмен как будто отражало теперь чувства Эвелин. "Однако есть же какая-то связь, ты видишь, наши души сообщались, наши жизни соприкасались, словно ноты в гармонии, в общей судьбе человечества, мы сестры. Ты понимаешь это, Эвелин Несбит? – Она встала и прикоснулась к ее лицу. – Ты улавливаешь это, моя красоточка?"

Пока она это провозглашала , глаза ее изучающе осматривали Эвелин. "Как, ты носишь корсет? – Эвелин кивнула. – Какой позор! Взгляни на меня , даже при моей фигуре я не ношу ничего фундаментального, я ношу только легкие, свободно струящиеся вещи, потому что уважаю свое тело и даю ему свободу дышать и жить. Я была права, ты – *ux* творение. Тебе нужен корсет не больше, чем лесной нимфе". Она взяла Эвелин за руки и посадила на край кровати. Пощупала талию. "Боже! Это же сталь! Твоя талия зашнурована туже, чем кошель с деньгами. Встань!" Эвелин послушно встала, и Голдмен не без определенного медицинского опыта быстро расстегнула и сняла с нее блузку. Затем упала юбка, и Эвелин вышла из нее. Голдмен развязала тесемки нижней юбки и сняла ее прочь. Легкий корсет подпирал грудь Эвелин, к нему были присобачены полоски, уходившие вниз – между бедрами. Корсет был зашнурован на спине. "Хохма в том, что во всех семейных очагах по всей Америке тебя полагают распутницей, – говорила Голдмен, расшнуровывая корсет и стягивая его вниз. – Выйди из этого". Эвелин послушалась. Ее белье прилипло к телу, отпечатывая на нем рисунок корсета. "Дыши, – скомандовала Голдмен, – подними руки, выпрями ноги и дыши". Эвелин подчинилась. Голдмен взялась за ее белье и потянула через голову. Потом присела и стянула с нее панталончики. "Выйди из них". Эвелин, естественно, вышла. Теперь она была полностью обнажена, если не придираться к черным вышитым чулочкам на эластичных подвязках. Голдмен, однако, скатала и их вниз, и Эвелин вышла из своих чулочков. Правда, она еще закрывала руками

груди. Голдмен теперь поворачивала ее медленно вокруг оси – серьезная, нахмуренная инспекция. "Люди добрые, удивительно, что у тебя еще осталось хоть какое-то кровообращение". Тело Эвелин Несбит и впрямь было испещрено глубокими, словно рубцы, следами ее туалета. "Женщины – самоубийцы", – сказала Голдмен. Отвернула одеяло. Вынула из близстоящего бюро пузатенький докторский баул. "Такое фантастическое тело, и взгляни, что ты делаешь с ним. Ложись". Эвелин присела на кровать, глядя, что же появится из баульчика. "Ложись на живот", – скомандовала Голдмен. Она вынула бутылочку и стала вытряхивать содержимое бутылочки себе в пригоршню. Эвелин легла на живот, и Голдмен начала нашлепывать густую жидкость на те места, где красные шрамы оскорбляли чудеснейшую плоть. "О-о, жалобно вскричала Эвелин. – Жалит!" – "Дубящее средство, первейшая штука для восстановления циркуляции", – объяснила Голдмен, растирая эвелинскую спину, эвелинские ягодицы, эвелинские бедра. Хозяйка чудеснейшей плоти визжала, а сама плоть корчилась в муках при каждой аппликации. Эвелин зарыла лицо в подушки, чтобы заглушить стенания. "Знаю, знаю, – приговаривала Голдмен, – потом ты скажешь спасибо". Казалось, что под мощным растиранием плоть сейчас прорвет кожу. Эвелин трепетала, ягодицы ее сжались под ошеломляющим холодом астрингена. Ноги вжимались друг в дружку. Теперь Голдмен вынула из баульчика бутыль массажного масла и стала смягчать эвелинские плечики, шею и спину, эвелинские ляжечки, икры и подошвы. Постепенно Эвелин расслаблялась, божественная плоть теперь "лишь слабо ответно трепетала под вдохновенным искусством Голдменских рук. Голдмен втирала масло в кожу, пока тело не приобрело естественный бело-розовый цвет и не стало пошевеливаться с некоторым уже подобием самоощущения. "Перевернись", – последовала команда. Волосы Эвелин рассыпались теперь вокруг нее на подушках. Глаза ее были закрыты, а губы растягивались в безотчетной улыбке, ну а Голдмен тем временем рьяно массировала груди, живот, ноги. Ступни Эвелин изогнулись, как у балерины на пуантах. Таз вздымался из постели, как бы ища чего-то в воздухе. Голдмен отвернулась к бюро, чтобы взять новую порцию смягчающего, когда молодка начала играть на простынях, словно волна в море. В этот момент стены исторгли жуткий, неземной крик, двери шкафа открылись, и оттуда вывалился Младший Брат Мамы – лицо его дергалось в пароксизме священного умерщвления... плевки раскаленной джизмы... некое подобие серпантина... крики экстаза и отчаяния...

В Нью-Рошелл Мать целыми днями терзалась по поводу своего братца. Раз или два он звонил по телефону из Нью-Йорка, но не сказал ни почему он пропал, ни где он пребывает, ни когда он вернется. Только мямлил что-то невразумительное. Она метала громы и молнии, но все безрезультатно. Через несколько дней она решилась на чрезвычайный шаг — пойти и обследовать его комнату. Как всегда, там было опрятно. Машинка для натяжки теннисных ракеток на столе. Парные весла в козлах у стены. Он сам всегда следил за своей комнатой, и там не было ни пылинки даже сейчас, в его отсутствие. Щетка для волос — на бюро. Слоновой кости рожок для обуви. Маленькая раковина в форме муфты с прилипшими зернышками песка. Этого Мать прежде не замечала. К стене была приколота картинка из журнала — портрет этой твари Эвелин Несбит работы Чарльза Дейна Гибсона. Он ничего не взял с собой, рубашки и воротнички лежали в комоде. Она виновато покинула комнату. МБМ был странный молодой человек. У него никогда не было друзей. Он был одинокий и какой-то бесчувственный, если не считать постоянной лени, которую он либо не мог спрятать, либо и не собирался. Мать знала, что Отец находил эту лень и вялость несколько тревожащими. Тем не менее он продвинул МБМ в бизнесе и облек его весьма большой ответственностью.

Она не могла, увы, поделиться своей тревогой с Дедом, который произвел этого мальчика на свет божий, увы, в слишком позднем возрасте и к этому времени почти полностью отстранился от практического, увы, восприятия жизни. Деду было за девяносто. Бывший профессор греческого и латыни, он обучил этим мертвым языкам целые поколения епископальных семинаристов в колледже Шэйди-Гроув, что в центральном Огайо. Деревенский классицист. Мальчиком он знавал Джона Брауна в округе Гудзон, в Западном заповеднике, и готов был рассказывать об этом двадцать раз на день всякому, кто готов был слушать. После отъезда Отца Мать все чаще вспоминала старую усадьбу в Огайо. Каждое лето там, казалось, чревато было каким-то обещанием, и будто знаки этого обещания взлетали из-под стогов краснокрылые скворцы. Обстановка в доме была местного изготовления, прочная и разумная. Сосновые стулья с высокими спинками. Широкие половицы деревянных полов закреплялись болтами. Она любила тот дом. Они играли с Младшим Братом на полу у камина. Она всегда верховодила в этих играх. Зимой лошадка Бесси запрягалась в санки, колокольчик привязывался на хомут, и они скользили по толстому мягкому снегу Огайо. О, она помнила Брата, когда он был младше ее сына. Она заботилась о нем. В дождливые дни они забирались с якобы таинственными целями на сеновал, в блаженную утробу, где внизу под ними топотали, храпели и ржали кони. На воскресные утренники она надевала розовое платье и чистейшие белые панталончики и направлялась в церковь. Взволнованное сердцебиение. Ширококостная девочка с высокими скулами и узким разрезом серых глаз. В Шэйди-Гроув она прожила всю жизнь, за исключением четырех школьных лет в Кливленде. Она всегда предполагала, что выйдет замуж за одного из семинаристов. Бац — в последний ее школьный год на горизонте появился Отец. Он как раз путешествовал по Среднему Западу с целью завязывания полезных контактов для дальнейшего развития своего патриотического бизнеса. Дважды во время своих успешных путешествий он посетил ее в Шэйди-Гроув. Когда они поженились и она отправилась к нему на Восток, она, конечно, не преминула взять с собой и престарелого своего папу. Позднее и Братец присоединился к ним в Нью-Рошелл, ибо был совершенно неспособен к самоопределению. И вот сейчас, в эту пору жизни, одна в своем модерном доме с чудеснейшими жалюзи на вершине холма, на фешенебельной авеню Кругозора, с маленьким сынишкой и древним папашей на руках, она чувствовала себя оставленной предательской расой мужчин, и яростный ветер ностальгии настигал ее ежедневно и еженощно, внезапно и каждый час. Письмо из Республиканского инаугурационного комитета приглашало фирму назвать ее цену на декорации и фейерверки для январского парада и бала, когда мистер Тафт должен заместить мистера Рузвельта.

Исторический момент для всего предприятия, а Отец и Младший Брат шляются неизвестно где. Она выбежала в сад, пытаясь взять себя в руки. Был поздний сентябрь, хризантемы, сальвии и бархатцы были в полном цвету, покачивались полновесно и удовлетворенно. Сцепив руки, она пошла вдоль ограды. Сверху, из окошка, за ней наблюдал Малыш. Он обратил внимание, как ее движения с некоторым отставанием переходили в движения ее одежд. Край юбки колыхался из стороны в сторону, бередя листья травы. У Малыша в руке было папино письмо, отосланное с мыса Йорк в северо-западной Гренландии. В Соединенные Штаты письмо было доставлено вспомогательным кораблем "Эрик", который в Гренландии сгрузил тридцать пять тонн китового мяса для псарни коммодора Пири. Мать сняла копию с этого письма, после чего оригинал был отправлен в мусор, ибо он весьма отчетливо попахивал дохлятиной. Малыш, разумеется, вытащил письмо из мусора и сделал его своим достоянием. По прошествии времени пальцы мальца растерли сальные пятна по всей бумаге. Письмо теперь чудесно просвечивало каждым своим фибром, Мальчик смотрел, как его мама выходит из пятнистой колеблющейся тени кленов и как ее золотые волосы, кучей собранные на голове в непринужденном стиле ежедневного невроза, вспыхивают словно солнце. Вот она остановилась, будто прислушиваясь к чему-то. Вот она поднесла ладони к ушам и медленно опустилась на колени перед клумбой. Потом она вдруг начала скрести пальцами землю. Малыш соскочил с окна и понесся вниз. Он промчался через кухню и вылетел в заднюю дверь. Тут он увидел впереди горничную-ирландку, на бегу вытиравшую руки о фартук.

Мать что-то нашла. На коленях у нее был какой-то кулек, и она счищала с него грязь. Горничная испустила вопль и перекрестилась. Малыш пытался разглядеть этот кулек, что же это за штучка, но горничная и Мать копошились теперь вокруг него на земле, счищая грязь, и он никак не мог между ними просунуться. Лицо Матери так побелело и было освещено таким интенсивным страданием, что он не узнал эту почитаемую им холеную и обильную красотой женщину, а вместо нее предстал перед ним какой-то иной, древний измученный лик с обтянутыми костями. Когда кулек отчистили от грязи, он увидел новорожденного. Глазки и ротик его были еще забиты землей. Крошечный и морщинистый. Коричневый бэби, туго стянутый одеяльцем. Мать высвободила его ручонки. Он слабо пискнул, и обе женщины простонапросто забились в истерике. Горничная ринулась к дому Малыш бежал сбоку от мамы и смотрел, как коричневые ручонки бессильно болтались в воздухе. Женщины вымыли бэби в тазике на кухонном столе. Это был еще окровавленный, неомытый мальчик. Горничная обследовала пуповину и сказала, что ее перегрызли. Младенца запеленали в полотенца, и Мать побежала звонить доктору. Малыш пристально смотрел, дышит ли бэби. Да, дышит и двигается. Маленькие пальчики хватали полотенце. Головка поворачивалась, как будто он хотел увидеть кого-то своими закрытыми глазами.

Когда доктор прибыл на своем "форде", его провели на кухню. Он прижал стетоскоп к крошечной костлявой груди. Он открыл младенцу рот и всунул палец ему в глотку. Ну, народ, сказал он и покачал головой. Уголки рта у него вздрагивали. Мать описала ему обстоятельства печального сюрприза, как она услышала писк, идущий прямо из-под ног, из земли, и в первый момент подумала: что за бред. "А если бы я наступила", — задумчиво пробормотала она, глядя в сторону. Доктор спросил горячей воды. Извлек инструменты из сумки. Горничная сжала пальцами крестик, висевший у нее на шее на цепочке. В дверях позвонили, и Малыш побежал в переднюю. Прибыла полиция. Мать заново объяснила все обстоятельства, на этот раз без задумчивости. Полицейский попросил разрешения воспользоваться телефоном. Телефон помещался на специальном столике в передней. Полицейский снял свой шлем, взял говорилку, поднял наушник. Подмигнул Малышу.

Через час в подвале дома в соседнем квартале была найдена черная женщина. Это оказалась прачка, которая работала где-то по соседству. Она сидела в полицейской санитарной машине, когда Мать вынесла ребенка. Взяв ребенка на руки, она заплакала. Мать была потрясена ее юностью. Детское лицо, простодушная красивая шоколадка. Грубо обстриженные волосы. Рядом с ней была медсестра. Мать

отступила на тротуар. "Куда вы ее отправите?" – спросила она доктора. "В дом призрения, – сказал тот. – В конечном счете ей придется предстать перед судом". – "Какие же обвинения?" спросила Мать. "Ну, попытка убийства, я бы сказал". – "У нее есть семья?" спросила Мать. "Нет, мэм, – включился полицейский. – Насколько мы знаем, никого". Доктор надвинул на глаза котелок, направился к своей машине и положил чемоданчик на сиденье. Мать глубоко вздохнула. "Я беру ее на поруки, – сказала она. – Пожалуйста, проводите ее в дом". Ни советы доктора, ни увещевания полиции не заставили ее передумать.

Так молодая негритянка и ее дитя возникли на верхнем этаже дома. Мать сделала несколько телефонных звонков, отменила свою работу на собрании Лиги жен. Взад-вперед — по гостиной. Ужасная ажитация. Вот сейчас-то она прочувствовала отсутствие мужа. Кляла себя за готовность, с какой всегда одобряла его путешествия. Вот сейчас-то нет никакой возможности дать ему знать о новых заботах семьи. До следующего лета ни одного звука не дойдет сюда из Арктики. Она поглядывала на потолок, как будто пыталась увидеть что-нибудь насквозь. Негритянская девчонка и ее бэби принесли в дом запашок беды, сквознячок хаоса, и теперь это ощущение поселилось здесь, будто своего рода порча. Это страшило ее. Она подошла к окну. Каждое утро прачки поднимались на холм от трамвайной линии на Северной авеню и здесь рассеивались по домам. Бродячие садовники-итальянцы подстригали лужайки. Ледовщики понукали своих лошадок, и те натягивали упряжь, чтобы доставить сюда, на холм, колотый лед.

При взгляде на закат в тот вечер можно было подумать, что солнце у подножия холма катится по невидимому желобу. Кроваво-красное солнце. Поздно ночью Малыш проснулся и увидел свою мамулю, сидевшую рядом с кроватью и глядевшую на него. Золотые волосы ее были убраны. Большие ее груди мягко коснулись его руки, когда она потянулась поцеловать его.

Между тем Родитель писал домой ежедневно в течение долгих зимних месяцев – неотправленные эти письма стали принимать характер дневника. Таким путем он как бы размерял беспрерывное течение мрака. Члены экспедиции жили с удивительным комфортом на борту "Рузвельта". Зимнее обледенение поднимало судно на его якорной стоянке до тех пор, пока оно плотно не засело грецким орехом в светящихся льдах. Пири жил, конечно, наиболее комфортабельно. В каюте у него было даже механическое пианино. Крупный мужичище с тяжелым торсом и рыжей с проседью шевелюрой – Пири. Длинные усы. В предыдущей экспедиции он потерял пальцы на ногах и теперь ходил странноватой шаркающей походкой, не отрывая ног от земли. Именно такой обрубленной ступней он педалировал и свой проигрыватель. У него были валики с музыкой Виктора Герберта и Рудольфа Фримля, дикая мешанина песен Боудоинколледжа и вальсов Шопена, в том числе "Минутный вальс", который Пири выкачивал своим обрубком за сорок семь секунд. Однако зимние месяцы не прошли вхолостую. Были вылазки на охоту – добывали мускусного быка; строили сани и базовый лагерь в девяноста милях от якорной стоянки - на мысе Колумбии, откуда и должен был произойти рывок через Ледовитый океан к Полюсу. Каждому участнику пришлось научиться править собачьей упряжкой и строить шалаши-йглу. За тренировками наблюдал помощник Пири негр Мэтью Хенсон. Пири к этому времени после ряда экспедиций разработал систему. Все материалы и конструкция саней, провиант и банки для провианта, способ закрепления тюков и нижнее белье, способы упряжки собак, типы ножей и оружия, сорта спичек, способы хранения спичек, очкиконсервы против слепящего блеска снегов и так далее. Пири любил обсуждать свою систему. В основе своей – то есть в том, что касается собак, саней, меховой одежды, взаимоотношений с местной фауной, – Пириева система просто-напросто воспроизводила эскимосский образ жизни. Отец с удивлением осознал это в один прекрасный день. Эскимосы вообще привлекали его. Однажды ему случилось увидеть, как Пири на палубе распекал одного из эскимосов за то, что тот не сделал предписанной работы должным образом. Шаркая после этого мимо Отца, он сказал ему: "Они – дети, и с ними следует обращаться как с детьми". Наш Родитель был склонен согласиться с коммодором, вообще в этом вопросе наблюдалось некоторое единодушие. Десять лет назад он сражался на Филиппинах под знаменами генерала Ленарда Эф Вуда против повстанцев Моро. Нашим коричневым братикам нужен хороший урок, говорил штабной офицер, втыкая булавочки в карту кампании. Разумеется, эскимосы первобытны. Эмоциональные, мягкие, они вполне заслуживают доверия, несмотря на некоторую проказливость. Хохочут и поют, хохочут и поют. Глубочайшей зимней ночью, когда дикие штормы срывали камни с утесов, и ветры свистели бешеным бандитом, и царил вокруг такой опустошающий холод, что Отцу казалось – его кожа горит, Пири с товарищами обращались к теоретическим обоснованиям системы и этим как бы защищались от страхов. Эскимосы, у которых не было системы, но которые просто жили на своих свирепых просторах, очень страдали. Порой их женщины безотчетно разрывали на себе одежды и бросались в черные бури, вопя и катаясь по льду. Мужья силой удерживали их от попыток к самоубийству. Отец держал себя под контролем благодаря своим записям. Это тоже была своего рода система, система языка и концепции. Сие предполагало, что человеческие существа актом свидетельствования как бы поддерживают существование других времен и территорий, чем то место и время, в котором они пребывают постоянно.

Увы, в этой скованной льдом ночи существовала еще некая сила, что хватала тебя за горло. Эскимосские семьи жили на корабле, лагерями, в трюмах и на палубах. Увы, они не очень-то были застенчивы в своих совокуплениях. Увы, сожительствовали они даже не раздеваясь, через отверстия в мехах, издавая к то муже при этом рычание и крики свирепой радости. В этом было что-то такое, чего даже Родитель не смог описать в своем дневнике, разве что чем-то вроде кода. Он вспомнил о Родительнице, об ее ухоженности и интеллигентской привередливой сдержанности в этих делах и гневно воспротивился

столь примитивному шквалу размножения.

Весна пришла все-таки, и однажды утром Мэтью Хенсон показал Отцу на корму. На южный склон неба проник тоненький лучик света. В последующие дни тьма перестала быть однородной, теперь можно было различить разные виды темноты, и это становилось все более и более определенным. В конце концов однажды утром кроваво-красное пятно встало над горизонтом, не круглое, но в виде изуродованного эллипса, как будто нечто новорожденное. Все были счастливы. Розовый, зеленый и желтый цвета славы лежали теперь на снежных вершинах, и весь открытый волшебный мир предлагал себя тому, кто сможет взять. Небо постепенно голубело, и Пири сказал, что пришло время покорить Полюс.

За день до выхода экспедиции Отец вместе с Мэтью Хенсоном и тремя эскимосами отправились на птичий базар. С мешками из тюленьей кожи за плечами они карабкались по скалам и собирали яйца, этот арктический деликатес, дюжину за дюжиной. Птицы взлетали с великим шумом — казалось, что кусок скалы поднялся в воздух. Отец никогда не видел столько птиц сразу. Преобладали глупыши и гагарки. Эскимосы шли, растянув между собой сети, и птицы, с ходу взлетая, запутывались в них. Сети подтягивались за углы и превращались в мешки, полные жалобно чирикающих пернатых тварей. Нехитрая охота; когда мужчины поймали столько, сколько могли унести, они спустились вниз и сразу перебили всю свою добычу Глупышу, размером с чайку, скручивали шею. Удивительнейшим образом убивалась безобиднейшая гагарка. Простое нажатие пальцем на крохотное сердчишко. Отец с увлечением наблюдал это дело, а потом попробовал и сам. Он взял гагарку в кулак, а большим пальцем другой руки мягко надавил на бьющуюся грудку. Головка упала, птаха околела. Эскимосы обожали гагарятинку и обычно солили эту живность в тюленьих мешках.

На обратном пути к лагерю Отец и Мэтью Хенсон обсуждали то, что вся экспедиция обсуждала до посинения: кому предоставит коммодор честь идти с ним на Полюс. Перед отходом из Нью-Йорка Пири довел до сведения каждого: он сам, и только он один откроет Полюс, их слава будет, так сказать, вспомогательной. "Я потратил жизнь, чтобы приблизиться к этому моменту, и я возьму его сам". Отец полагал, что это вполне понятная точка зрения. У него была некоторая неуверенность любителя перед профессионалом. Но вот Мэтью Хенсон был как раз тем человеком, который считал, что, кроме эскимосов, на Полюсе с коммодором будет еще кто-то, и он, Мэтью Хенсон, предполагал — не примите за дерзость, — что это будет именно он сам, Мэтью Хенсон. Отец, конечно, понимал, что у Хенсона есть все основания. Он сопровождал Пири в предыдущих экспедициях, да и сам был проницательным великолепным полярным исследователем. Он управлял собаками не хуже любого эскимоса, знал, как починить сани, как разбить лагерь, — могучий негр, он похвалялся многими искусствами. И все же Отец безотчетно противился этой идее и, сдерживая непонятное раздражение, спросил негра, почему он так уверен, что выберут его. Они остановились на краю огромной снежной долины. В этот момент солнце пробилось через облачность и вся земля вспыхнула, будто зеркало. "Ну, — пробормотал Мэтью Хенсон улыбаясь, — ну, я просто знаю, сэр".

На следующий день экспедиция выступила. Она была разбита на партии, включавшие каждая одного или двух полярников, нескольких эскимосов, упряжку собак и пять саней. Каждая партия посменно в течение недели шла впереди, пробивая след остальным. В конечном счете каждый должен был оставить здесь семь шкур и отправиться назад, к Большой земле, для того чтобы Пири и его мальчики сохранили силы для последней сотни миль. Так действовала "система". Это была работенка — пробивать след! На ней можно было сломать хребет. Пионеры без продыху махали ледорубами, подтаскивали сани на вздымавшиеся торосы и тормозили их на почти отвесных спусках. На каждых санках было шестьсот фунтов снаряжения и провизии. Когда они ломались, приходилось разгружать их и скреплять сломанные части голыми руками. Вокруг были водяные разводы. Льдины сталкивались с пушечным грохотом, под ногами постоянно был какой-то угрожающий шум, как будто это рычал сам океан. Какие-то необъяснимые туманы закрывали солнце. Порой ничего не оставалось делать, как только ползти по тонким простынкам

свежеформирующегося льда: желающих остаться на дрейфующей льдине не замечалось. Погода была постоянной мукой, ветер резал как бритва при пятидесяти или шестидесяти градусах ниже нуля, и сам воздух, казалось, изменил свою физическую природу, оседая в легких нерастворимыми кристаллами. Каждый выдох украшал или, если угодно, обезображивал толстым слоем инея бороды и меховые капюшоны. Все члены экспедиции были обуты в предписанную системой мягкую обувь из тюленьей кожи, одеты в медвежьего меха штаны и анораки из меха карибу, но даже эти зимние материалы становились хрупкими на морозе. Солнце теперь стояло над горизонтом круглые сутки. К концу дневного пути – чтонибудь около пятнадцати миль изнурительных усилий – пионеры разбивали лагерь, строили шалаши-иглу для идущих сзади, кормили собак, распутывали обледеневшие стропы, разжигали спиртовки, чтобы приготовить чай, и наваливались на мороженый пеммикан и крекеры. Весь март экспедиция Пири медленно шла на север. Отряды один за другим поворачивали назад, теперь в их обязанность входило пробивать обратную колею – и как можно тщательнее – для оставшихся. Пири ежедневно измерял пройденный путь и тут же занимал иглу, построенное для него Хенсоном. Последний тем временем возился с собаками, чинил сломанные полозья, готовил ужин, управлялся с эскимосами, что становилось, между прочим, с каждым днем все труднее. Пири установил, что основные достоинства эскимосов лояльность и послушание, грубо говоря, те же достоинства, что он искал и в собаках. Когда пришло время для финального рывка, Пири и в самом деле выбрал Хенсона, последний же отобрал эскимосов, самых лучших, по его разумению, ребят, самых преданных коммодору. Остаток партии был отослан домой.

Отец отправился назад уже давно. Он был пионером в самую первую неделю. Увы, он не показал себя самым стойким членом экспедиции, и произошло это вовсе не из-за недостатка храбрости, как Пири объяснил ему, прежде чем отправить домой, но из-за склонности к быстрому обморожению. Левая пятка Отца, к примеру, замерзала ежедневно, невзирая на все его попытки уберечь ее от беды. Каждый вечер в лагере он оттаивал ее, и она дьявольски болела; он тщательно лечил эту свою несчастную пятку и закутывал ее, но утром всякий раз она замерзала снова. Такая же участь постигла одно из его колен и небольшую зону на руке. Кусочки нашего Родителя замерзали совершенно неожиданно, без всякой подготовки, и Пири объяснил ему, что он – не единичный случай, такова судьба многих полярников, и тут ничего невозможно сделать. Он был действительно довольно славный, этот коммодор, и наш Родитель ему нравился. Коротая бесконечную зиму на борту "Рузвельта", они выяснили, что оба являются членами одного и того же братства по колледжу, а это, как можно догадаться, довольно прочные связи. И все же после трудов всей жизни Пири был одержим одной лишь страстью – достичь своей цели. Общество Отца отвалило коммодору весьма приличную сумму, но за это оно было вознаграждено: их человек поднялся до 72 градусов 46 минут, что тоже вполне прилично и почетно. Перед разлукой Отец преподнес коммодору американский флаг, изготовленный на его фабрике для предстоящего события. Чистый шелк и хороший размер, а в сложенном виде – не более носового платка. Пири поблагодарил и спрятал флаг в глубине своих мехов, а затем, напомнив об опасных полыньях, отправил Отца в обратное путешествие к "Рузвельту" в компании трех неуживчивых эскимосов.

И вот наконец Пири на расстоянии дня пути от заветной цели. Безжалостно подгоняя Хенсона и эскимосов, он не давал им спать и часа на стоянках. Солнце теперь сверкало ярко, небеса были чисты; бывало, и полная луна появлялась в голубом небе и огромные ледяные бедра земли вздрагивали и вздымались к ней. Утром 9 апреля Пири вдруг дал знак остановиться. Он приказал Хенсону построить из снега укрытие, пока будут делаться измерения. Затем он завалился на живот со всем своим хозяйством — сковородкой ртути, секстантом, бумагой, карандашом — и рассчитал свою позицию. Удовлетворения не было. Он прошел еще немного дальше по льдине и снова определился. И снова без удовлетворения. Весь день Пири шагал по льдине: милю туда, милю сюда и все искал верную точку. Он делал несколько шагов к северу, и вдруг оказывалось, что он идет к югу. Увы, на этой водянистой планете море скользило и не

желало фиксироваться в исторические моменты. Он не мог найти точное место, чтобы сказать — вот эта плешка, вот здесь Северный полюс. Тем не менее не было никаких сомнений, что они побывали на нем. Расчеты, сложенные вместе, были неопровержимы. Трижды "ура", мой мальчик, сказал он Хенсону и приказал поднять флаг. Хенсон и эскимосы кричали "ура", но их не было слышно в вое ветра. Зато флаг замечательно струился и щелкал. Пири позировал Хенсону, а затем и сам сфотографировал своих спутников. На снимках мы видим пять закутанных в меха фигур и флаг, водруженный на палеокристаллизовавшемся холмике. Можно предположить, что холмик этот и есть Северный полюс, реальная шишечка, как на глобусе. Из-за света лица на снимках неразличимы — лишь черные пятна, обрамленные мехом.

11

Между тем дома ветер перемен прошелестел над Соединенными Штатами. Президентский офис, притащив туда все свои триста тридцать два фунта, занял Уильям Говард Тафт. По всей стране мужчины критически посмотрели на себя в зеркало. Обычно они за стойками в салунах выдували огромное количество пива, поглощали гигантские ломти хлеба и массу ливерной колбасы. В рутинном обеде августейшего Пирпонта Моргана было не менее семи перемен блюд. К завтраку ему подавали бифштексы, котлеты, яйца, блинчики, вареную рыбу, булочки, масло, фрукты и сливки. Жратва была заклятием успеха. Персона, несущая впереди себя свое пузо, считалась на вершине благополучия. Дамы попадали в больницу с разрывом мочевого пузыря, с одышкой, с ожирением сердца и воспалением спинного мозга. Общество устремлялось на воды, к серным источникам, но и там прием слабительного оказывался лишь поводом для новой обжираловки. Великая Америка пердела на весь мир. Все это стало меняться, когда Тафт въехал в Белый дом. Его вступление в этот мифический для американцев офис как бы перегрузило и потянуло вниз воображение общества. Огромная фигура нового президента была апофеозом этого стиля – дальше уже некуда. Впоследствии мода пошла другим путем и тучность стала уделом бедных.

В этом отношении, как, впрочем, и во всех других, Эвелин Несбит была впереди своего времени. Хотя прежний ее главный любовник Стэнфорд Уайт был толстым кряжистым стилягой, а муж, Гарри Кэй Фсоу тоже был основательно пухловат, нынешний избранник, Младший Брат Матери, оказался тоненьким и пружинистым, как молодое дерево. Они занимались любовью вдумчиво и медлительно, втягивая друг друга в извилистые поиски таких состояний оргазма, после которых уже и поговорить-то было не о чем и ни к чему. Вот это было характерно для Эвелин, она никогда не могла сопротивляться тому, кто был столь мощно на нее нацелен. Некоторое время они с Младшим Братом потратили на тщетные поиски Тяти и Малышки по Нижнему Ист-Сайду. Квартира на Хестер-стрит была покинута Эвелин сняла ее и некоторое время горестно прокуковала у окна. Она притрагивалась к вещам, к одеялу, к тарелке, будто слепец, читающий пальцами. Иногда она впадала в отчаяние, и тогда МБМ брал ее для утешений на узенькую медную кроватку.

Во время процесса Гарри Кэй Фсоу Эвелин фотографировалась перед зданием суда. Внутрь фотографов не пускали, и там на нее нацеливались художники. Скрипели стальные перья. Она занимала свидетельское место и повествовала о том времени, когда ей было пятнадцать, когда она сидела, болтая ножками, в кресле красного бархата, а у богача-архитектора перехватывало дыхание при виде ее лодыжек. Она была решительной и голову держала высоко. Одета с безупречным вкусом. Этот процесс создал первую секс-богиню в американской истории. Две группы общества четко осознали это. В первой были бизнесмены, производители одежды, творцы мод, частично уже вовлеченные в показ так называемых "движущихся картин". От них не укрылось то, что газеты с лицом Эвелин на первой полосе распродавались мгновенно. Они понимали, что возникает момент иллюзорности, когда сногсшибательные поступки, совершенные определенными личностями, становятся для публики важнее жизни. Появились индивидуальности, в которых воплощалась извечная тяга человеческих существ к исключительности. Бизнесмены, естественно, хотели в создании подобных медиумов не зависеть от случая, но полагаться на собственный опыт и размах. Если они осилят это, монеты посыплются в кассы. Итак, именно Эвелин Несбит вдохновила деловой мир на создание системы кинозвезд и стала моделью для всех секс-богинь, от Зеды Бары до Мэрилин Монро. Вторая группа, понимавшая значение Эвелин, состояла из ведущих профсоюзников, анархистов и социалистов, которые совершенно безошибочно напророчили, что она станет большей угрозой интересам трудящихся масс, чем стальные и угольные короли. Примеры были не за горами В Сиэттле Эмма Голдмен, выступая в местной секции ИРМа, определила Эвелин Несбит как дочь

рабочего класса, чья жизнь должна стать уроком для всех дочерей и сестер этого класса, если они не хотят сделаться утехой толстосумов. Тогда мужчины в аудитории начали острить, хохотали, выкрикивали сальности, а между тем это были воинственные рабочие, с настоящим радикальным самосознанием Голдмен тогда написала Эвелин: "Я часто задаюсь вопросом, почему массы позволяют кучке людей эксплуатировать себя. Ответ прост потому что они отождествляют себя с ними Таща в кармане газету с твоей мордашкой, работяга идет домой к своей жене, изнуренной рабочей кляче со вздутыми венами, и мечтает он не о справедливости, но о богатстве". Эвелин терялась от таких соображений. Она продолжала свидетельствовать так, как подрядилась. Она даже появлялась с семейством Фсоу и при помощи взглядов и всяких жестов создавала образ преданной супружницы. Она изображала Гарри как жертву неудержимой тяги постоять за честь своей юной невесты. Она играла безупречно Скрип, скрип – рисовальные перья. Сутяги в очках и целлулоидных воротничках подталкивали вверх холеные усы. Все в зале суда были одеты в черное. Она раньше и не предполагала, что существует такой огромный аппарат законников, посвятивших свою жизнь этим немыслимым условностям. Судьи, и адвокаты, и приставы, и полицейские, и распорядители, и присяжные – все они как бы полагали, что этот процесс устроен для них. Скрип, скрип – рисовальные перья. В коридорах между тем ждали психиатры, готовые немедленно засвидетельствовать невменяемость подсудимого. Он не разрешал, однако, воспользоваться этой линией защиты, решительно ей противостоял. Августейшая мамаша хотела заставить его пойти на это, ибо боялась, что в противном случае он отправится на электрический стул, но он решительно противостоял Эвелин наблюдала за ним. Есть ли в мире хоть что-то, способное смягчить это бешеное сердце Гарри на скамье подсудимых явно следил за выражением своего лица и старался как бы иллюстрировать происходящее. Когда он слышал что-нибудь забавное, он мягко улыбался. Грустные вещи опечаливали его. При упоминании имени Стэнфорда Уайта мохнатые его брови топорщились. Он показывал как бы, что готов к раскаянию, но к раскаянию с высоко поднятой головой И даже с внутренней убежденностью в своей правоте. Полностью сконцентрированный, спокойный и куртуазный идеал разумности.

Однажды Эвелин пришло в голову, что Гарри, возможно, и в самом деле любит ее. Она была потрясена. Она попыталась нащупать истину в их отношениях, в роковом, так сказать, треугольнике. Впервые она очень остро ощутила потерю Стэнни. Уж он-то наверняка нашел бы истину. Хотя бы похохотал, хотя бы пошутил в своей манере. Похотливый старый "ходок" имел чувство юмора. Она могла вывести его из себя с тем же успехом, как она сводила с ума Гарри, но ей всегда легче дышалось в обществе Стэнни Уайта. Он мог забыть о ней и отправиться что-нибудь строить, тогда как Гарри никогда не забывал о ней, потому что ему больше нечего было делать. Просто богач О, как отчаянно она нуждалась сейчас в человеке, которому могла бы раскрыть душу, но этот единственный в мире человек погиб. О, он погиб изза нее. На голубой веленевой бумаге с выпуклыми буквами "Миссис Гарри Кэй Фсоу" она написала письмо Эмме Голдмен в Калифорнию, где та собирала средства для защиты боевых братцев Макнамара, обвиненных во взрыве редакции "Лос-Анджелес тайме". Что мне делать? "Не переоценивай свою роль во взаимоотношениях этих двух типов", — таков был ответ.

Тем временем на процессе настала очередь присяжных, однако они не смогли вынести вердикт. Назначен был новый процесс Эвелин свидетельствовала снова. Те же слова, те же жесты. Когда наконец все кончилось, Фсоу был отправлен под стражей в госпиталь криминальной психиатрии. Почти немедленно его адвокаты начали переговоры о разводе Эвелин была готова на это. Ее цена — миллион. Вдруг на сцене появились частные детективы с доказательствами ее неверности, ей инкриминировали связь с Младшим Братом Матери и какими-то еще другими лицами, и вскоре развод был по-тихому завершен выплатой двадцати пяти тысяч. И вот Эвелин сидит на кровати в своих апартаментах, которые теперь придется оставить, и не отрываясь смотрит на ночные туфельки, которые держит в руке. Нежности МБМ почему-то в данном случае ее не разогревают. Она вспомнила, как Эмма Голдмен говорила ей в свой последний

приезд: "Ты получишь от Фсоу лишь то, что он захочет тебе дать. Таков закон богачей, они извлекают выгоду из каждого отданного гроша. Каждый доллар, полученный тобою, обернется его доходом. Тебя оставят с такой суммой денег, которую ты быстро и понапрасну потратишь и станешь снова нищенкой, с чего и начала". Она поняла теперь – это правда.

А что же с нашим Тятей и Малышкой? После того злополучного митинга старый художник целые сутки не пил – не ел, бесконечно курил сигаретки и мрачно сетовал на свою жестокую судьбу. И всякий раз, как он взглядывал на свою крошку, перед ним словно бы раскрывалось ее горькое будущее, сулящее быстрый конец ее дивной красоте, и он всякий раз заливался слезами и прижимал дитя к своей груди. Малышка же тем временем, сохраняя полное спокойствие, работала по дому, готовила нехитрую еду, и движения ее так напоминали ему утраченную жену, что в конце концов он не выдержал. Побросав какие-то пожитки в замшелый чемодан и обвязав его веревкой, он схватил Малышку за руку, и они отправились куда глаза глядят, с единственной лишь целью – никогда не возвращаться в эту квартиру на Хестер-стрит. На углу они погрузились в трамвай No 12 и отправились на Юнион-сквер. Там они пересели в No 8 и поехали на север по Бродвею. Теплый вечер, все стекла в трамвае опущены. Улицы забиты экипажами и авто. Перекликающиеся сигналы. Трамваи шли сцепками, над ними похрустывающие дуги рассыпали пучки искр, и казалось, что искры те слетают с наэлектризованных небес, к тому же и огромные бесшумные молнии матово озаряли темнеющий Бродвей. Тятя не имел, признаться, понятия, куда они направляются. Малышка крепко держала его руку. С необычным, каким-то торжественным выражением она взирала на бесконечный бродвейский парад. Мужчины в шляпах-канотье, синих блейзерах и белых брюках, белоснежные летние женщины. Светящиеся пузырьки вывесок на водевильных театрах. Все подпрыгивает и крутится, и по периферии зрачков Малышки будто бы крутится маленький огонек. Через три часа они оказались уже в Бронксе и ехали на север по Вебстер авеню. Луна спряталась, резко похолодало. Трамвай быстро скользил вдоль широкого пустынного бульвара, остановки были редкие. Потом появился огромный, поросший травой пустырь, в разных местах которого виднелись группы строящихся домов. В конце концов огни города совсем исчезли, и в тесных контурах за окном Малышка распознала большущее кладбище, поднимающееся по склону холма. Памятники и склепы под холодным ночным небом напомнили девочке судьбу ее мамочки. Впервые она обратилась к своему Тяте с вопросом – куда же мы едем? Он опустил окно, прервав струю холодного ветра. Они остались последними пассажирами в вагоне. "Ша, – сказал Тятя, – спи, детка". Временами для спокойствия он ощупывал свои сбережения – тридцать долларов, рассованные по карманам и в обувке. Вон, вон из Нью-Йорка, проклятого города, разбившего жизнь. В те дни нашей истории в городах существовала высокоразвитая система рельсового сообщения. Можно было преодолеть огромные расстояния, посиживая на жестком сиденье из плетеного камыша и лишь временами меняя маршрут. У Тяти не было никакой конечной цели, он решил просто-напросто ехать до конца каждого маршрута и там пересаживаться.

Поздно ночью они пересекли городскую черту в Маунт-Верноне и здесь выяснили, что следующий трамвай отправится только утром. Ночлег они нашли в каком-то маленьком парке, в раковине оркестра. Утром прекраснейшим образом освежились и помылись в общественном заведении. С восходом солнца погрузились в красно-желтый трамвай, вожатый которого приветствовал их весьма дружелюбно. Тятя заплатил ему никель за себя и два цента за Малышку. На задней площадке вагона штабелем стояли ящики с мокрыми и блестящими квартами молока. Тятя спросил, нельзя ли купить штуку. Вожатый посмотрел на него, потом на Малышку и сказал: "Да берите сколько надо", а на предложенные деньги не обратил внимания. Он дергал бечевку, колокол звонил, трамвай кренился на поворотах. Вожатый пел. Эдакий цветущий толстопузый тенор. На поясе у него висела разменная машинка. Через некоторое время они въехали в Нью-Рошелл, штат Нью-Йорк, и двинулись вверх по Главной улице. На улицах здесь было довольно много экипажей, солнце поднималось все выше, жизнь кипела. Вожатый объяснил Тяте, что если ему нужно проехать дальше, то следует сделать пересадку на углу Северной авеню на Береговую линию Почтового тракта. Тятя и Малышка вышли на этом, стало быть, углу и принялись ждать. Мимо них прошли

Мать и Малыш. Малышка посмотрела на Малыша. Кучерявенький. Матроска, темно-синие штанишки, белые носочки, лакированные туфельки. Он держал за руку свою маму и, проходя мимо древнего Тяти и Малышки, глубоко заглянул последней в глаза. Тут подошел трамвай Береговой линии Почтового тракта. Тятя, сжав девочкино запястье, резво бросился к ступенькам. Трамвай уходил, а Малышка все смотрела с задней площадки на Малыша, пока он не исчез из виду. Его глаза запомнились ей как голубые с желтыми и зелеными пятнами, раскраска школьного глобуса. Вверх по Почтовому тракту, по берегу пролива трамвай подошел к границе штата Коннектикут. В Гринвиче Коннектикутском они пересели на другой маршрут и через города Стэмфорд и Норуок подъехали к Бриджпорту где похоронен был Том Большой Палец. Они научились теперь угадывать приближение конечной остановки маршрута: кондуктор выходил в проход и переворачивал спинки пустых сидений. В Бриджпорте – новая пересадка. Рельсы оттуда повернули в глубь континента. Ночевку они устроили в Нью-Хейвене Коннектикутском. На этот раз они отдыхали, как порядочные, в меблирашках, а завтракали за табльдотом. Перед тем как спуститься к завтраку, Тятя зверским образом вычистил штаны и пиджак и даже повязал вокруг вытертого воротничка галстук бантом. Он стал увереннее. Малышка же надела чистый передничек. В меблирашках жили главным образом университетские студенты, и завтрак прошел в обществе этих гусей в золотых очках и свитерах. После завтрака старый художник с дочкой возобновили свое путешествие. Вагон компании "Спрингфилд трэкшн" довез их до Нью-Бритена, а потом к городу Хартфорду. Улицы последнего были настолько узки, что, казалось, из окна трамвая можно дотронуться до стен дощатых домов. Потом они вылетели на пригорок и помчались к Спрингфилду Массачусетскому. Большущий деревянный вагон раскачивался из стороны в сторону. Ветер летел им в лицо. Быстрее, быстрее по краю просторных полей, где птицы взлетали при приближении и опадали при удалении. Малышка наблюдала коров, поскакивавших в травах гнедых лошадей, и все это – озаренное солнцем. Тонкий слой меловой пыли ложился на лицо девочки, скрывая ее румянец, затеняя глаза и замутняя ее яркие губки, и Тятя даже в какой-то момент вздрогнул, увидев вместо своей чудной крошки маску зрелой женщины. А вагон все грохотал по рельсам и уже не звонил, а трубил в пневматический гудок всякий раз, подходя к перекресткам. На одной остановке вдруг масса пассажиров заполнила сиденья и проход. Малышка оглядывала всех с любопытством. Тятя вдруг понял, что она счастлива. О, она любит путешествия. Держа одной рукой чемодан, другой он обнял девочку. Он вдруг поймал себя на том, что улыбается. Ветер дул в лицо и забивал рот. Вагон так кидало из стороны в сторону, что казалось, сейчас он вылетит с рельсов, но никто не праздновал труса, а напротив, все смеялись. И Тятя смеялся. Вдруг он увидел за окном деревню своей юности, несколько верст [5] отсюда, за лугом. Церковь со шпилем на горе. Ребенком он тоже любил подолгу ехать – в больших двуколках под летним лунным светом. Когда повозки сталкивались, детишки валились в кучу малу друг на друга. Он глядел теперь в окно и на пассажиров трамвая и впервые после приезда в Америку думал о том, что здесь, может быть, можно что бы вы думали? – жить. В Спрингфилде они купили хлеба и сыру и погрузились в современный темнозеленый вагон вустерского трамвая. До Тяти тут дошло, что они добрались уже чуть ли не до Бостона. Он подсчитал свои расходы, и вышло что-то около трех с половиной долларов. Трамвай жужжал. Высоченные ели отбрасывали длинные тени. Промелькнул широкий спокойный поток и посредине одинокий гребец на парновесельной лодке. Промелькнуло огромное мокрое, роняющее струи и капли мельничное колесо, медленно поворачивающееся над ручьем. Тени сгущались. Малышка заснула. Тятя держал чемодан на коленях и безотрывно смотрел в окно и на поворотах видел впереди рельсы, сверкающие под лучом мощной головной фары.

О шпалы, шпалы, железные пути. Футурологам модных журналов будущее виделось где-то в конце параллельных рельсов. Существовали тогда и локомотивы дальнего следования, и пригородные электрички, и трамваи, и надземки – и все это протягивало по стране свои стальные полосы, которые перекрещивались, создавая ткань неутомимой работящей цивилизации. В Бостоне и Нью-Йорке появились даже подземные дороги, новые стремительные сабвеи, перевозившие тысячи всякого люда каждый день. Новый транспорт имел такой успех на Манхэттене, что возник даже спрос на ветку к Бруклину. Из этого спроса выросло и новое инженерное чудо – конструкция тоннеля под Ист-ривер из Бруклина в Бэттери. Кроты-проходчики, работая за гидравлическим щитом, выносили на поверхность речной грунт дюйм за дюймом и по мере своего движения устанавливали и соединяли секции железобетона. Камера проходчиков была заполнена сжатым воздухом, накаченным с поверхности. Опасная работа. Мужички, работавшие эту работу, почитались героями. Дамоклов меч всегда висел над ними – опасность так называемого "выхлопа", когда сжатый воздух находил в крыше тоннеля слабое место и вырывался наружу с безобразной яростью. Однажды вот случился "выхлоп", да еще такой взрывной силы, что засосал четырех рабочих из тоннеля и выстрелил ими сквозь двадцать футов ила и сорок футов воды в воздух, куда они взлетели на гребне гейзера. Только один из четырех выжил. Заголовки в газетах Гарри Гудини, кушая утренний кофе, ознакомился с репортажами, быстро оделся и помчался в центр, в больницу Бельвю, где, как сообщалось, и находился единственный уцелевший. "Я Гарри Гудини, – сказал он в регистратуре, – я должен видеть этого "крота". Сестрицы, сидевшие за столом, стали совещаться, а он тем временем, бросив вороватый взгляд на схему больницы, побежал вверх по лестнице. "Это невозможно, вы не имеете права", – говорила, следуя за ним, сестрица – твердыня порядка, но он вышагивал через зал, полный больных и умирающих людей. Полосы славного утреннего солнца протянулись из высоких грязных окон через палату подобно контрфорсам. Виноградной гроздью скучилась вокруг кровати семья геройского "крота" – жена, старая мать в платке, рослые сыновья. Тут же находился и доктор. Пострадавший был забинтован от макушки до пят. Загипсованные руки и нога поддерживались на вытяжении. Каждые несколько минут вся эта куча бинтов и гипса испускала слабый, как будто бы притворный стон. Гудини прочистил горло. "Я, Гарри Гудини, с поклоном к семейству, я спасаюсь для пропитания, эскейпизм – это моя профессия, так я зарабатываю деньги. Однако позвольте мне сказать, что я никогда не сделал ничего такого, что позволило бы мне хотя бы приблизиться вот к этому". Он показал глазами и подбородком на постель. Семейство взирало на него без всякого выражения на флегматичных славянских лицах. Бабушка, не отрывая от Гудини глаз, сказала что-то не по-нашему как бы вопрошая о чем-то, и один из сыновей почтительно ей что-то ответил и назвал имя Гудини. "Я хотел бы выразить уважение", – сказал Гудини. Плоские лица, тяжелые брови, широко посаженные глаза – все продолжали на него смотреть, не оставляя ему никаких шансов на ответную улыбку. "Как вы сюда прошли?" – спросил доктор. "Я только на минутку, – не по существу ответил Гудини, – я только спрошу его кое о чем" – "Вы бы лучше ушли", – сказал доктор. Гудини повернулся к семейству. "Я хотел бы узнать, что он чувствовал и что он делал, чтобы достичь поверхности. Он оказался единственным. Это не может быть просто так. Он что-то сделал особенное. Мне очень важно это знать, вы же понимаете. – Он вынул бумажник, извлек оттуда несколько купюр. – Думаю, это вам не помешает, прошу, возьмите, от чистого сердца". Семейство взирало на него без движения. Слабый звук долетел с постели. Один из сыновей наклонился и подставил папаше свое большое ухо. С минуту послушав, он кивнул. Затем подошел к другому сыну и что-то сказал ему. Здоровенные хлопцы, выше шести футов, груди как бочки. "Без грубостей", – сказал доктор. Гудини вдруг почувствовал, что его подняли за локти и несут по проходу через палату. Ноги его болтались в воздухе. Он решил не сопротивляться, хотя отлично владел приемами самообороны и мог бы расшвырять этих орясин в один момент, но как-никак это все же была

больница, ну.

Гудини шел по улицам. Уши горели от унижения. На нем была шляпа с опущенными полями, тугой двубортный полосатый пиджак, рыжеватые брючки и коричневые с белым штиблеты. Быстрое движение сквозь нью-йоркские толпы. Исключительная гибкость. Он думал о сцене, которой ему никак не удавалось достичь, сцене, называемой "реальный мир". При всех своих достижениях он оставался все же не более чем трюкачом, иллюзионистом, самым обыкновенным волшебником. В чем был смысл его жизни, если люди, покидая театр, тут же забывали о нем? А газетные заголовки кричали: "Коммодор Пири достиг Северного полюса". Вот номер на сцене реального мира, и он заносится в книгу истории. Гудини решил сконцентрировать свои усилия на подвигах во внешней среде. Во время очередного турне он освободился из заколоченного и перевязанного веревками ящика, опущенного в замерзшую Детройт-ривер. В Бостоне и Филадельфии его тоже топили в замерзших реках Для этих номеров он тренировался в собственной ванне, куда ледовшик наваливал колотого льда. Но что, скажите, от этого изменилось? Тогда он решил отправиться в Европу. Между прочим, он начинал свою карьеру именно в Европе, и именно оттуда ему удалось прорваться в круг американского водевильного бизнеса. Странным образом он иногда чувствовал, что европейцы лучше понимают его, чем соотечественники. За несколько дней до отъезда он устроил концерт в пользу старых колдунов и ветеранов сцены. Он хотел порадовать их новой эскападой. Ну конечно, он нанял целую команду санитаров из Бельвю, они вышли на сцену и забинтовали его с ног до головы. Потом они запеленали его в целую кучу простынь и прикрутили к больничной койке. Ну конечно, потом они вылили на него целые потоки воды, чтобы простыни стали потяжелее. И конечно же, он выбрался из всей этой муры. Ну, театральные старцы, конечно же, обалдели от восторга. Но он удовлетворен не был.

Гудини отправлялся в Европу на "Императоре", огромном германском судне с фигурой на носу — странная штука на современном трехтрубном пассажирском лайнере, не правда ли. Фигура — имперский орел с когтями, погруженными в земной шар. Миссис Вайс, древняя матушка Гудини, пришла проводить его на пирс. Маленькая аккуратненькая женщина в черном. Он поцеловал ее, ну конечно, обнял ее, потом поцеловал ей руки и пошел вверх по сходням. Потом, конечно, он бросился назад и принялся снова целовать ее, держал ее лицо в своих ладонях и целовал свою мамочку в глаза. Она кивала и пошлепывала его. Он взбежал, наконец, окончательно на палубу и стал махать. Без конца махал сначала просто рукой, потом кепкой. Уже вполне было смехотворно махать с середины реки, уже очевидно было, что мамочка его не видит, а он все махал и кричал, пока огромный лайнер вытаскивали буксирами на внешний рейд. Он-то еще долго мог ее видеть на пирсе, маленькую черную фигурку, хрупкую свою дорогую, любимую старую леди. Она всегда радовалась, что у нее такой преданный сын. Однажды явился, попросил ее подставить передник и вывалил ей в передник пятьдесят сверкающих золотых долларов. Хороший мальчик. На извозчике она вернулась домой на 113-ю улицу и стала ждать его возвращения.

Гудини начал свое европейское турне в театре "Ганза" в Гамбурге. Аудитория кипела энтузиазмом. Газеты посвящали ему целые полосы. Каждый вечер поклонники осаждали служебный вход театра. Он старался поскорее от них избавиться. Никогда еще он не чувствовал такого горького разочарования. Почему он посвятил свою жизнь бессмысленному делу, увеселению толпы? Однажды случилось ему увидеть демонстрацию французской летательной машины "Вуазен". Это был красивый биплан, эдакий хрупкий ящичек с тремя деликатно закрепленными велосипедными колесами. Авиатор поднимал его над гоночным треком, летал по кругу, а затем приземлялся на внутреннем поле ипподрома. На следующий день этот подвиг был подробно описан в газетах. Гудини не стал долго раздумывать. Уже через неделю у него был новенький "Вуазен". Конечно, это обошлось ему в пять тысяч долларов, но... В полный комплект входил и французский механик, который обучал искусству летания. Гудини приспособил для этого дела армейский плац за чертой города. Между прочим, во всех странах, где он когда-либо играл, он всегда

накоротке сходился с военщиной. Солдаты повсюду, между прочим, обожали его. Каждое утро он отправлялся на плац, садился в свой "Вуазен", а француз читал ему лекцию о функциях разных рычагов и педалей. Аэроплан управлялся большущим рулевым колесом, установленным в вертикальной позиции и прикрепленным стволом к рулю направления. Пилот восседал на маленьком сиденье между двумя крыльями. Позади него был мотор, а позади мотора – пропеллер. Сделан был "Вуазен" из дерева, а крылья покрыты туго натянутой и отлакированной материей. Распорки, соединяющие двойные крылья, тоже были покрыты этой материей. Все вместе напоминало воздушного змея. Гудини распорядился, чтобы его имя было написано заглавными буквами как на верхних крыльях, так и на нижних. Он не мог дождаться первого полета. Терпеливый механик, однако, тщательно муштровал его в различных операциях, потребных для того, чтобы вздымать машину ввысь, удерживать ее в полете, ну и, между прочим, чтобы приземлять ее. Каждый вечер Гудини выходил на подмостки театра, а каждое утро мчался на летные уроки. Наконец пришло утро, когда красные рассветные небеса были чисты и ветер, по оценке механика, соответствовал всем кондициям; в это утро они вытолкали аппарат из-под навеса и развернули его носом на север. Гудини вскарабкался в пилотское сиденье, повернул кепи козырьком назад и натянул потуже. Сжал руль. Предельная концентрация, суженные глаза, мощно выставленная вперед челюсть – таков был в этот момент Гудини. Кивнул механику, который уже раскручивал деревянный пропеллер. Мотор взревел. Это был 80-сильный "энфилд" – у братьев Райт, конечно, было, вы знаете, что-то похуже. Боясь дохнуть, Гудини дросселировал мотор, ставил его в нейтральное положение, снова дросселировал. Наконец он поднял большой палец – поехали! Механик вынырнул из-под крыльев. Аппарат медленно двинулся вперед. Гудини дышал все чаще и чаще, пока "Вуазен" набирал скорость. Вдруг – толчок, и Гудини ощутил, что чувствительные крылья как бы обрели собственное самосознание, словно бы нечто сверхъестественное внезапно присоединилось к его предприятию. Машина поднималась над землей. Ему казалось, что он грезит. Усилием воли он обуздал свои эмоции, сурово скомандовал себе держать крылья на одном уровне, дросселировать в зависимости от скорости полета. Лечу! Он работал педалями, наклонял руль, и машина послушно набирала высоту. Наконец он осмелился глянуть вниз: земля была не менее чем в пятидесяти футах. Он больше не слышал скрежета мотора позади себя. Ветер бил в лицо, и он вдруг обнаружил, что кричит, как вы думаете, во все горло. Скрепляющие проволоки, казалось, пели, крылья над и под пилотом кивали, покачивались и как бы играли в своем удивительно чувствительном самосознании. Велосипедные колеса медленно и бесцельно вращались в потоках ветра. Он пролетел над купами деревьев. Добившись уверенности, он положил аппарат в труднейший маневр — в поворот. "Вуазен" описал широкий круг над армейским плацем. Гудини увидел механика, салютующего ему обеими руками. Хладнокровно он выровнял крылья и начал снижение. Жесткий толчок при приземлении несколько обескуражил его, но когда аппарат остановился, он жаждал только одного – быть снова в небе.

Во время последующих полетов Гудини оставался в воздухе уже минут по десять-двенадцать. Это было уже некоторой дерзостью — летать на пределе горючего. Временами ему казалось, что он как бы плывет как бы подвешенный прямо-таки к облакам. Он мог видеть сверху целые деревни, гнездившиеся по германской равнине, он как бы преследовал свою тень, скользившую вдоль исключительно ровных германских дорог, очерченных изгородями. Однажды он взлетел так высоко, что увидел даже, вы не поверите, средневековый силуэт Гамбурга и поблескивающую на солнце Эльбу. Он чертовски гордился своим аэропланом. Он жаждал творить историю летания. Молодые офицерики из местных казарм все чаще и чаще наведывались на плац, чтобы увидеть полеты Гудини. Некоторых из них он знал уже по имени. Однажды комендант, тот самый, что столь любезно разрешил Гудини пользоваться армейским плацем, с не меньшей любезностью спросил, не захочет ли Гудини прочесть несколько лекций молодым офицерам об искусстве летания. Волшебник согласился с готовностью. Он приспособил к этим лекциям свое расписание. Ему нравились молодые офицеры, в высшей степени интеллигентные и почтительные. Они смеялись его шуткам и не смеялись над его отнюдь не идеальным немецким — казалось, просто не

замечали его. Однажды утром после полета Гудини направлял уже свой аппарат к навесу, когда заметил стоявший в ожидании штабной "мерседес" и в нем офицеров императорской германской армии. Он не успел вылезти из самолета, когда с откидного сиденья "мерседеса" вскочил комендант, церемонно отдал честь и почему-то официально спросил, не может ли Гудини снова поднять "Вуазен" для демонстрационного полета. Гудини глянул на двух основательных мужчин, сидевших на заднем сиденье авто в кольчугах из медалей и крестов. Они ему кивнули. На переднем сиденье рядом с шофером сидел сержант в шишастой каске. На коленях у него лежал карабин. В этот момент закрытое белое ландо "даймлер" медленно приблизилось к штабному автомобилю. Медные части его были отполированы выше всяческого совершенства, и даже белые деревянные спицы на колесах были ослепительно чисты. Флаг с золотой каемкой трепетал на правом крыле. Пассажиров ландо Гудини не смог разглядеть. "Конечно, — сказал он, что за вопрос". Он приказал механику залить бак и через несколько минут снова был в воздухе и произвел несколько торжественных кругов над полем. Как, должно быть, он выглядел с земли, как! Какое упоение! На высоте ста футов он прожужжал прямо над машинами, а потом снизился до пятидесяти, покачал крыльями и помахал рукой. Кто бы там ни сидел в этом шикарном авто, он летал для них, пожалуйста, не жалко.

Когда он приземлился, его пригласили в большой "даймлер". Шофер открыл дверцу и вытянулся по стойке "смирно". Внутри оказался эрцгерцог Франц-Фердинанд, наследник австро-венгерского трона. Он был облачен в полевую форму австрийской армии, а на сгибе руки держал шлем с плюмажем. Волосы его были пострижены щеткой, верхушка башки совершенно плоская. Огромные торчащие вверх навощенные усищи. Эрцгерцог туповато взирал на Гудини из-под тяжелых век. Рядом с ним сидела его жена графиня Софи, величавая матрона, деликатно позевывавшая под прикрытием белой руки в перчатке. Франц-Фердинанд, похоже, не очень-то отчетливо сознавал, кого ему представляют. Он поздравил Гудини с изобретением аэроплана.

14

Вернувшись в Нью-Рошелл и пройдя под своими любимыми кленами. Родитель увидел Родительницу с чернокожим младенцем на руках. Цветная девчонка одна куковала в мансарде. Меланхолия обессилила ее, она не могла уже приподнять свое дитя. День-деньской она сидела неподвижно, глядя, как солнце зажигает бриллиантами окна домов, как стекла сияют, а потом угасают. Отец посмотрел на нее в открытую дверь. Она не шевельнулась. Он странствовал по своему собственному дому и повсюду как бы находил приметы своего собственного отсутствия. Сынишка, точно настоящий студентик, обзавелся письменным столиком. Чу, не арктический ли ветер свистит? Нет, это горничная Бригита тянет через ковер в гостиной новомодный электрический всасывающий очиститель. Престраннейшим предметом оказалось, надо сказать, зеркало в ванной. Оно явило ему изможденное бородатое лицо доходяги Бритвенное зеркальце на "Рузвельте" было гораздо снисходительнее. Какое жалкое тело, торчащие ребра и ключицы, жалкое, ранимое, белое с пятнами, экий костлявый таз . Ночью в постели Мать держала его и старалась согреть всю малость его некогда могучей спины, она старалась как бы завернуть его всего себе внутрь, убаюкать и во сне растопить его странную обледенелость. Им обоим было очевидно, что на этот раз он пропадал слишком долго. Внизу Бригита ставила пластинку на виктролу, крутила ручку, а потом рассаживалась в гостиной, курила сигарету и слушала песенку Джона Маккормака "Я слышу, ты зовешь меня". Она делала все, чтобы потерять свою работу. Проку теперь от нее было не больше, чем почтения. Мать связывала это с появлением в доме цветной девушки. Отец полагал, что планета попросту съехала на несколько градусов с оси морали. Приметы морального скоса он видел теперь повсюду, и это бесило его. В его собственной конторе ему сказали, что его собственные швеи присоединились к профсоюзу. В висевших на нем пиджаках и брюках он казался себе еще более бесформенным, чем в полярных мехах. Арктические подарки. Он привез сыну пару моржовых клыков и китовый ус с эскимосской резьбой, а жене шкуру белого медведя. Вытаскивание из дорожного сундучка арктических сокровищ – тетрадки журнала, заскорузлые странички, подписанная фотография коммодора Пири, наконечник гарпуна, несколько банок неиспользованного чая – превратилось в молчаливое посмешище: пожитки дикаря. Семья стояла и смотрела, как он ползает вокруг сундучка. Ему нечего было им сказать. Северная арка мира мраком и холодом еще сжимала его плечи. Ведь не расскажешь же, как, дожидаясь на борту "Рузвельта" возвращения коммодора, он слушал вой ветра и сжимал с любовью и благодарностью грешное и грязное, воняющее рыбой тело эскимоски. Он прижимался своим телом к подванивающей рыбине, вот что он там делал. Он даже в уме не осмеливался произнести старое доброе англосаксонское слово по отношению к этому делу. Сейчас в Нью-Рошелл ему казалось, что от него несет рыбьей печенкой, что он дышит рыбой, что рыба застряла в ноздрях. Он драил себя до красноты. Он заглядывал в глаза Матери, ища там догадку. Вместо этого он находил в них странное любопытство и сострадание. Она относилась к нему будто к какому-то иному существу. Каждую ночь после его возвращения они спали вместе, и это было удивительно. Да, некоторым образом она была уже не столь сокрушительно скромна, как прежде. Она ловила его взгляды. Она расплетала волосы перед сном. Однажды ночью ее рука совершила путешествие по его груди вниз под рубашку. Он решил, что у бога в копилке наказания столь затейливые, что предугадать их невозможно. Он поворачивался к ней и видел, что она готова. Он стонал. Она тянула к себе его лицо, и ее руки не чувствовали его слез.

Тем не менее дом с широкими окнами, скошенными углами уверенно, будто корабль, вплывал из сумерек в каждый новый день. Сверкающим ноябрьским утром Отец взирал на свой дом из сада. Опавшие

листья, подернутые морозом, лежали вокруг, как застывшие волны. Дул ветер. Прихрамывая, он огибал дом и возвращался. Он думал о предстоящем докладе в Нью-йоркском клубе исследователей. Конечно, он предпочел бы посиживать в гостиной, подставив ранимые свои ступни маленькому электрообогревателю. В семье все относились к нему как к выздоравливающему. Сын приносил ему бульон. Мальчик весьма вырос и уже потерял частично свою детскую пухлость. Он становился полезным членом семьи и интересным собеседником. Весьма толково обсуждал явление кометы Галлея. Отец порой чувствовал себя ребенком рядом с ним, таким взрослым.

В газетах появились сообщения об африканском сафари Тедди Рузвельта. Великий консерватор свалил в свои ягдташи семнадцать львов, одиннадцать слонов, двадцать одного носорога, восемь гиппопотамов, девять жирафов, сорок семь газелей, двадцать девять зебр, а разных там антилоп куду, канна, импал, разных там диких кабанов и бородавочников не счесть.

Бизнес, несмотря на отсутствие Отца, оказался в полном порядке. Мать могла теперь бойко говорить на такие темы, как "оптовые цены", "изобретения", "реклама". Она ведь взяла на себя все руководящие функции. Она произвела некоторые изменения в процедуре расчетов и заключила контракты с четырьмя новыми агентами в Калифорнии и Орегоне. Отец проверил все ее деяния и был весьма удивлен. На ее ночном столике лежали теперь книги типа "Сражающаяся леди" Молли Эллиот Сивелл или памфлет на тему о семейных путах, принадлежащий перу Эммы Голдмен, анархистки-революционерки. Внизу, в мастерской, отец обнаружил своего шурина, сгорбившегося над чертежным столом. МБМ терял свои блондинистые волосы. Он был бледен и худ и еще более отстранен от окружающих, чем когда-либо. Самым примечательным было то, что он проводил теперь за работой двенадцать-пятнадцать часов в день. Он взял под свою эгиду именно фейерверковый отдел предприятия и теперь разрабатывал целые дюжины новых ракет, огненных колес и необычные огненные хлопушки, запакованные не в цилиндрический, а в сферический контейнер. Запал торчал из этой штуки, словно стебель, и, стало быть, штучку по праву назвали Бомба-Вишенка. Однажды утром двое мужчин в черных пальто и котелках явились на испытательное поле Младшего Брата за трамвайным кольцом, в высоких травах. Отец стоял на небольшом пригорке на краю болота. В пятидесяти ярдах от пригорка, на пятачке ссохшейся грязи, Младший Брат готовился к демонстрации. Он оговорил с Отцом, что первое возгорание будет обычным, а вот второе как раз и окажется Вишенкой. И вот он встал и, отойдя на несколько шагов, поднял руку. Отец услышал, как слабенько пукнула хлопушка. Дымок тут же рассеяло ветром. Младший Брат вернулся на прежнее место, нагнулся и потом снова отошел назад, на этот раз более поспешно. Теперь он поднял обе руки. Ну и взрыв – просто бомба! Чайки от неожиданности закружились в воздухе, а Отец услышал звон в ушах как после контузии. Он был обеспокоен: Младший Брат подбежал к нему, пылая румянцем, со странным блеском в глазах. Отец высказал предположение, что, пожалуй, взрыв несколько мощноват в том смысле, что он чересчур силен. "Прошу понять меня правильно, но я не хотел бы производить ничего, что могло бы повредить глаза хоть одному ребенку". МБМ ничего не ответил, но вернулся на свой пятачок и поджег запал еще одной Вишенки. На этот раз он остался рядом. С приподнятым вверх лицом он похож был на человека, собирающегося принять душ. Вытянул руки. Бомба взорвалась. Он снова нагнулся и снова выпрямился. Еще один взрыв. Птицы описывали широкие круги, паря над проливом, пикируя и взмывая в потоках ветра.

Молодой человек был в растерзанных чувствах. Эвелин Несбит охладела к нему. Она даже становилась враждебной, когда он слишком уж настойчиво домогался ее любви. Наконец она простонапросто отчалила с каким-то профессиональным танцором рэгтайма. Они собирались вместе выступать на сцене — так она сообщила в небрежной записке. Братишка привез в свою комнату в Нью-Рошелл деревянный ящик, заполненный ее силуэтными портретами, и пару бежевых атласных туфелек, выброшенных ею, Эвелин. Незабываемое — однажды она стояла в этих туфельках и в белых вышитых

чулочках и более ни в чем, руки на бедрах, вот так стояла и вдруг посмотрела на него через плечо. После своего возвращения он целыми днями лежал на кровати. Временами он хватал и сжимал себя так, как будто старался вырвать весь куст с корнями. Шагая по комнате, он зажимал ладонями уши и громко гудел, чтобы не слышать ее голоса. Он не мог смотреть на проклятые силуэты. Зарядить бы сердце порохом и взорвать! Как-то на рассвете он проснулся с ее запахом в ноздрях. Из всех терзаний памяти это было самым ужасным, самым непереносимым. Он ринулся вниз и швырнул силуэты и атласные туфельки в мусорный бак. Потом он побрился и отправился на фабрику флагов и фейерверков.

Силуэтные портреты были спасены и восстановлены до полной кондиции его маленьким племянником.

Мальчик копил разный утиль словно сокровища. Мда-с, он постигал мир весьма своеобразно, он жил совершенно скрытой интеллектуальной жизнью. Он заглядывал в отцовские арктические дневники, но не пытался их прочесть, пока автор не утратил к ним интереса. То, чем пренебрегали, приобретало в его уме какое-то особенное значение. Очень тщательно он изучил все силуэты и, выбрав один из них, повесил на дверцы внутри своего гардероба. Это была наиболее частая модель неизвестного художника – маленькая девочка с волосами будто шлем и как бы готовая побежать в любой момент. На ней были разбитые шнурованные сапожки и спущенные чулочки, дитя бедности. Остальные силуэты Малыш спрятал на чердаке. Он был весьма восприимчив не только к выброшенным предметам, но также и к разным происшествиям, к разным совпадениям. В школе он почти не занимался, но дела его там шли хорошо, так как почти ничего от него и не требовали. Его учительница, дама с тщательно уложенными волосиками, обучала ребят декламации и хлопала в ладоши, пока они тренировались в изображении различных крючков и извилин, что предполагало развитие хорошего почерка и стиля. Дома Малыш выказывал живейший интерес к книжкам "Моторизованные мальчишки" и "Еженедельник Дикого Запада". Эти его вкусы семейство находило, скажем так, не исключительными, но это как раз и успокаивало всех. Мать подозревала, что он странный ребенок, но ни с кем не делилась этими подозрениями, даже с Отцом. Любые указания на ординарность сына как-то успокаивали ее. Она жалела, что у него нет друзей. Отец был еще явно не в форме, а Младший Брат был столь мучительно озабочен самим собой, что оставался лишь Дед, который как раз и культивировал в мальчике то, что можно было назвать странностью или просто самостоятельностью духа.

Старичина был худ и сутул, да еще и подпахивал плесенью, может быть, потому, что гардероб его весьма обветшал, а от любых новых вещей он категорически отказывался. Вечно слезящиеся глаза. Сидя в гостиной, он читал внуку наизусть куски из Овидия. Это были истории о людях, превратившихся в животных, деревья или статуи. Истории метаморфоз. Женщины оборачивались подсолнухами, пауками, летучими мышами, птицами; мужчины становились змеями, свиньями, камнями и даже "легкими дуновеньями". Мальчик не знал, что он слушает Овидия, да это и не имело значения. Дедушкины байки внушали ему, что формы жизни неуловимы, летуче-изменчивы и в принципе все что угодно в мире может быть чем угодно иным. В своих повествованиях старик часто без предупреждения соскальзывал с английского в латынь и обратно, и это лишний раз убеждало мальчика в том, что ничто в мире не застраховано от изменчивости, даже язык.

Малыш воспринимал своего дедушку тоже чем-то вроде утильного сокровища. Он принимал на веру все эти истории и полагал, что можно даже было бы проверить это на практике. Доказательства нестабильности как людей, так и вещей окружали его повсюду. Он мог прищуриться на гребенку, лежащую на бюро, и она соскальзывала и падала на пол. Он мог подумать, глядя на окно, что в комнате становится холодновато, и рама опускалась сама собой. Ему очень нравились "движущиеся картинки" в театре на Главной улице в Нью-Рошелл. Он знал принципы фотографии, но видел также, что "движущиеся картинки" основаны на способности людей, животных и предметов как бы отдавать частицу самих себя, носителей тени и света, оставшегося позади. С увлечением он крутил виктролу, крутил какую-нибудь пластинку, любую, снова и снова, как будто для того, чтобы испытать прочность повторяемого явления.

Потом он взялся изучать самого себя в зеркале, будто бы ожидая, что некие изменения произойдут у него на глазах. Конечно, он не мог заметить, что стал выше за несколько месяцев и что волосы у него потемнели. Родительница, естественно, полагала, что его интерес к зеркалу – проявление народившегося мужского тщеславия. Да, конечно, он уже вырос из детских штанишек, думала она не без удовольствия. В

действительности же он продолжал торчать у зеркала, так как открыл, что при помощи этого предмета может как бы раздваиваться. Он пристально смотрел на себя до тех пор, пока не оказывалось, что две особи смотрят друг на дружку, и даже невозможно сказать, какая из них реальная. Возникало ощущение потери тела. Он как бы утрачивал собственную персону. Головокружительное чувство отделения от самого себя, миг бесконечности. Он погружался в этот процесс настолько, что не мог из него выйти, хотя сознание оставалось ясным. Приходилось полагаться только на вмешательство извне — шум или изменение света в окне, которое отвлекло бы внимание и помогло воссоединиться в целое. Ну, а собственный его папка, самоуверенный здоровяк, который вдруг исчез, а вернулся изнуренным, бородатым, пришибленным? Ну, а дядюшка, теряющий свои дивные волосики и миловидность? Как-то у подножия холма отцы города снимали покрывало с бронзовой статуи какого-то старого голландского губернатора, свирепого на вид мужлана в квадратной шляпе и сапожищах с пряжками. Семейство присутствовало на церемонии. В городе, в парках, имелись и другие статуи, и Малыш знал их все. Он был уверен, что статуи есть продукт метаморфозы людей и лошадей. Однако даже ведь и статуи не оставались неизменными, они меняли свой цвет, теряли свои частички и кусочки.

Ясно, что мир постоянно составляет и пересоставляет сам себя в бесконечном процессе неудовлетворенности.

Зима явилась исключительно холодная и сухая, и пруды в Нью-Рошелл стали идеальными катками. По субботам и воскресеньям Мать, Младший Брат и Малыш катались в парке по Сосновой авеню, соединявшейся с их авеню Кругозора. Младший Брат катался сам по себе, длинными торжественными и изящными шагами, руки за спиной, голова опущена. Мать в меховой шапочке и черном длинном пальто, руки в муфте, каталась со своим сынишкой, который держал ее за локоток. Она надеялась отвлечь его от одиноких занятий взаперти. В самом деле, веселые сцены: взрослые и дети скользят по льду, длинные цветные шарфы развеваются на их шеях, носы и щеки пунцовы. Народ валится на лед и друг на дружку, хохочет, прыгает. У собак разъезжаются лапы, когда они бегают за детьми. Вжик-вжик — лезвия по льду. Некоторые семьи катают своих старших в креслах на полозьях и со всем почтением. Ах, какая потеха! Глаза Малыша следили, однако, только за следами конькобежцев, как они резко проступали на льду, как быстро бледнели и через несколько мгновений пропадали.

Эта зима застала Тятю и его дочку в заводском городишке Лоуренсе, штат Массачусетс. Они прибыли сюда прошлой осенью, наслышавшись, что здесь есть работа. Тятя теперь стоял перед ткацким станком пятьдесят шесть часов в неделю, а зарабатывал меньше шести долларов. Они жили в деревянном бараке на холме. Там и печки-то не было. У них была одна комнатенка, окна глядели в проулок, куда обитатели выбрасывали мусор. Маленькой девочке, ей-же-ей, нетрудно здесь пасть жертвой низких элементов, уверяю вас. Он решил не записывать ее в школу – здесь было легче избежать склонности властей к всеобщему образованию – и заставлял сидеть дома в его отсутствие. После работы он брал ее на часок погулять по темным улицам. Она стала задумчивой. Плечики держала прямо и выступала будто взрослая женщина. Почему-то очень ярко он видел ее будущее созревание, и это мучило его. Кроме всего прочего, девочке нужна мать, когда приходит время, вы согласны? Что же, ей в одиночку придется проходить все эти тяжкие изменения, а? Конечно, можно было бы жениться, но как она примет чужого человека – вот вопрос. Быть может, это худшее, что можно придумать, ей-же-ей. Унылые деревянные жилища тянулись бесконечными рядами. Жили тут одни лишь европейцы – итальянцы, поляки, бельгийцы, евреи из России. Дружба народов здесь явно не процветала. Однажды крупнейшая из мануфактур Американская шерстяная компания – выдала конверты с урезанным жалованьем, и некое подобие судороги прошло по цехам. Несколько итальянцев бросили свои станки и помчались по мануфактуре, призывая к стачке. Расшатывали решетки и в окна вываливали глыбы угля. Бунтовщиков становилось все больше, ярость растекалась повсеместно, вскоре станки были остановлены по всему городу. Нерешительных было мало. За три дня текстильное производство в Лоуренсе было полностью развалено.

Тятя ликовал. Что ж, нас хотели умертвить голодом, заморозить до смерти, говорил он дочери, что ж, теперь мы будем расстреляны. Однако вскоре из Нью-Йорка прибыли многоопытные деятели ИРМа, и стачка была организована должным образом. Сформированный из представителей разных этнических групп комитет обратился к рабочим с воззванием: никакого насилия. Взяв с собой дочку, Тятя присоединился к тысячам бунтарей, окружавших фабрику — массивное кирпичное здание, протянувшееся на несколько кварталов. Они волоклись рядами под серым холодным небом. Водители трамваев, идущих в центр, высовывались посмотреть на молчаливое многотысячное шествие под снегом. Над ними обвисали обледеневшие провода городских коммуникаций. Милиция нервничала у городских ворот. Они-то, гады, все были в теплых пальто.

Конечно, происходило множество инцидентов. Одну работницу застрелили на улице. Оружие было только у полиции и милиции, но за соучастие в убийстве, естественно, были арестованы рабочие лидеры Этторе и Джиованетти. Их посадили в тюрьму до суда. В воздухе пахло провокацией. Тятя пошел на станцию – встречать тех, кто заменит в комитете Этторе и Джиованетти. Гигантская толпа. Из поезда вышел Большой Билли Хейвуд, знаменитейший из всех "уобли" [6]. Он был "западник" и носил широкополый "стэтсон", который тут же был им снят для приветствия толпы. Ура, ура! Хейвуд, подняв руки, призвал к тишине. Он говорил. Завораживающий голос. "Здесь нет других иностранцев, кроме капиталистов!" – вскричал он. Площадь обезумела. Потом все дружно маршировали по улицам и пели "Интернационал". Малышка впервые видела своего Тятю таким вдохновленным. Ей нравилась стачка, потому что не надо было сидеть дома. Она держала его за руку.

Борьба нарастала неделю за неделей. Комитеты помощи открыли кухни в каждой округе. "Это не благотворительность, — объяснила выдавальщица. Тяте, когда он, получив порцию еды для Малышки, отказался от своей. — Боссы хотят вас ослабить, но вы должны быть сильнее. Люди, которые помогают нам сейчас, завтра будут нуждаться в нашей помощи". Пикетчики на своих постах заматывались шарфами,

топтались, прыгали на снегу. Малышкина накидочка была поношенна и сквозила как решето. Тятя вызвался рисовать плакаты в агитационном комитете стачки, и теперь они могли не выходить на холодные улицы. Плакаты получались очень красивыми. Ответственный товарищ, однако, сказал, что они никуда не годятся. Искусство нам ни к чему, пояснил он. Нам нужно то, что направляет ярость масс. Нужно поддерживать пламя борьбы. Тятя стал рисовать пикетчиков – окоченевшие фигуры по колено в снегу. Он рисовал семьи, скученные в жалких лачугах. Он писал тексты: "Все за одного, один за всех". Дело пошло лучше. К вечеру он забирал обрезки бумаги, перья и тушь и дома, чтобы отвлечь Малышку от всех этих бед, забавлял ее силуэтными рисунками. "Вот вам, мисс, трамвайная сценка, пассажиры входят и выходят". Ах, она это обожала. Разложила рисунок на подушке и смотрела на него с разных углов. Он вдохновлялся. "Вот вам, мисс, трамвай с нескольких позиций, вы держите все это вместе, а потом щелкаете страничку за страничкой, и вот, пожалуйста: трамвай как бы приближается к вам, как бы останавливается, и люди как бы входят и выходят". Его собственный восторг не уступал Малышкиному. Она взирала на него со столь безоблачным счастьем, что его начала бить творческая лихорадка: творить для собственного ребенка – вот счастье. Он притащил домой еще больше бумажных обрезков. Воображение – его мисс на коньках. За две ночи он сделал сто двадцать силуэтов на страничках величиной с ладонь. Затем соединил их шнурком. "Итак, вы можете, мисс, теперь, отщелкивая странички вашим маленьким большим пальчиком, видеть самое себя уносящейся на коньках и возвращающейся, выписывающей "восьмерку", кружащейся в пируэте и, наконец, предлагающей публике очаровательный поклон, каково?" У Тяти глаза были на мокром месте, когда она осыпала его благодарными счастливыми поцелуйчиками. Неужели он ничего не сможет сделать для своей дочурки, кроме этих пустых забав? Неужели у них нет ничего в будущем, кроме нереальных надежд? Она вырастет и проклянет его имя.

Тем временем стачка стала популярной. Репортеры прибывали ежедневно со всей страны. Приходила и помощь из других городов. И все-таки появилась нарастающая слабина в стачечном фронте. Многодетным было нелегко сохранять боевой дух. Возник план отправить детей в другие города на харчи в семьи сочувствующих. Сотни семей в Бостоне, в Нью-Йорке, в Филадельфии выразили готовность их принять. Многие прислали деньги. Стачечный комитет внимательно проверял каждый вариант в отдельности. Родители отправляемых детей подписывали специальную форму. Эксперимент начался. Состоятельные дамы прибыли из Нью-Йорка, чтобы сопровождать первую сотню детей. Каждый ребенок проходил медицинский контроль и получал комплект новой одежды. Они прибыли на Центральный вокзал в Нью-Йорке, словно некая религиозная армия. Их встречала огромная толпа, и у каждого в этой толпе остался в памяти, словно снимок, вид детей, держащихся за руки, с решимостью, без улыбок глядящих прямо перед собой и как будто видящих ужасную судьбу, которую уготовила им индустриальная Америка. Шум в прессе стоял невероятный. Владельцы мануфактур в Лоуренсе уразумели, что из всех стратегических уловок стачечного комитета крестовый поход детей был для них самым опасным. Если допустить продолжение этого дела, национальные чувства качнутся к работягам и тогда придется принимать их требования. Это означало зверское увеличение жалованья до восьми долларов в неделю. Кроме того, работяги стали бы получать приплату за сверхурочную работу и за увеличение скорости станков. Кроме того, и это главное, они не понесли бы никакого наказания за свою стачку. Это было немыслимо. Мануфактурщики-то ведь лучше знали, кто является слугами цивилизации, источниками прогресса и процветания. Во имя блага всей страны и американской демократической системы они решились больше не допускать этих ребячьих шествий.

Тятя в это время мучился сомнениями. Конечно, для Малышки ничего не было бы лучше, как провести сейчас несколько недель в устроенной семье. Ее бы там и кормили как полагается, отогрелась бы, бедняжечка, почувствовала бы вкус нормальной жизни в семье. Но он не мог перенести разлуку с ней. Одна лишь мысль об этом ужасала его. Он отправился поговорить о своих сомнениях с одной женщиной в

комитете помощи. Та заверила его, что у них есть множество чудесных семей из рабочего класса, добровольцы с незапятнанной репутацией. "Я был социалистом всю мою жизнь", — сказал Тятя. "Вот именно, — кивнула женщина, — можете не волноваться". — "Еврейские семьи?" — спросил Тятя. "Найдутся и такие". Ох, он никак не мог заставить себя подписать бумагу. "Мы проверили каждую семью, буквально собирали досье — легкомыслие в таком деле, конечно же, невозможно. Доктор прослушает вашу дочку, уже это одно — вещь стоящая. А горячая пища? Однако самое главное — она узнает, что у ее отца в мире есть друзья. Впрочем, никто вас не принуждает, конечно. Посмотрите через плечо, какая за вами очередь". Тятя подумал: "Вот оно — рабочее братство в действии, а я размышляю, как жалкий буржуйчик из местечка". Он подписал бумагу.

Неделю спустя он провожал Малышку на станцию. В числе двух сотен детей она отправлялась в Филадельфию. На ней была новая накидка и теплая шапочка, закрывающая уши. Он украдкой бросал на нее взгляды. О, как красива. Прямо-таки королевская осанка. Новые вещички радовали ее. Он старался быть небрежным с ней, чтобы не страдать. Она не сказала ни словечка против, когда узнала, что ей предстоит оставить папу. Конечно, это облегчает дело, но если для нее это так легко сейчас, чего же ждать от такого ребенка в будущем? Между тем у Малышки были такие резервы характера, которых нервный Тятя не мог и предположить. Люди обращали на нее внимание. Тятя гордился, хотя и трусил немного. В зале ожидания было столпотворение матерей и детей. "Подходит!"-завопил кто-то, и толпа повалила к дверям. Поезд подходил, шипя и пыхтя в белых парах.

Вагон, резервированный для детей, был в конце состава. Это был поезд линии Бостон — Мэйн с локомотивом "Болдуин-4-6-0". Все двинулись по платформе, во главе процессии выступали дипломированные няни из Филадельфийского женского комитета. "Не забывай вести себя как следует, напутствовал Тятя дочку. — Если тебя о чем-то спрашивают, тут же что-нибудь отвечай. Говори громко, чтобы тебя услышали". Тут он заметил за углом вокзала на улице длинный ряд милиции в касках, с ружьями на груди. Процессия вдруг остановилась и попятилась. Какое-то смятение возникло впереди. Раздались крики, там и сям неизвестно откуда появились полицейские, толпа неожиданно закружилась в диком круговороте. Изумленные пассажиры выглядывали из окон, а полицаи начали отделять матерей от детей. Они волокли женщин по платформе, пинали их и бросали в армейские грузовики, загодя приготовленные в конце платформы. Дети бросились врассыпную. Женщина с окровавленным ртом. Пар из локомотива, как клочья тумана. Спокойный звон колокола. Другая женщина появилась перед Тятей. Она держалась за живот и пыталась что-то сказать. Тятя поднял дочку и швырнул ее в ближайший вагон. Женщина упала. Тятя подхватил ее под мышки и потащил к скамье. Тут он привлек внимание какого-то полицая, и тот обрушил свою дубинку ему на голову и на плечи. "Что вы делаете?" — вскричал Тятя. Он не понимал, чего хочет от него этот маньяк, но тот гнался за ним и бил без устали. Наконец Тятя упал.

Распоряжение для этой полицейской акции было дано городским шерифом, который категорически запретил детям покидать Лоуренс Массачусетский. Для их же собственной пользы. Теперь несмышленыши ползали на коленях по платформе среди своих распростертых и окровавленных родителей. Некоторые бились в истерике. За несколько минут полиция очистила платформу, грузовики отъехали, милиция отмаршировала, и на поле боя остались лишь избитые рыдающие взрослые и плачущие дети. Там был и Тятя. Чтобы собраться с силами, он схватился за какой-то столб и попытался встать. Он был не совсем в себе. Ему казалось, что он слышит звуки из прошлого. "Тятя, Тятя", — звал его голос Малышки. Вдруг он осознал, что на платформе как-то неестественно светло. Поезд ушел! Как будто кто-то хлестнул его кнутом, и он тут же пришел в себя. "Тятя, Тятя!" — звал ее голос. Последний вагон отошедшего поезда был уже за платформой, но почему-то еще не двигался. Он побежал к нему. "Тятя! Тятя!" Тут, конечно, поезд начал медленно двигаться. Тятя побежал по шпалам. Он бежал спотыкаясь, с протянутыми руками. Схватился за перила смотровой площадки в хвосте поезда. Поезд набирал скорость. Ноги отрывались от земли. Шпалы

под ним уже сливались в темную несущуюся полосу. Он то пытался коснуться ногой полотна, то подтягивал колени и, наконец, повис, просунув голову между прутьями решетки, словно узник, алчущий свободы.

Тятю спасли два кондуктора. За руки и за штаны они втащили его на смотровую площадку, но прежде им пришлось при помощи рычага вытаскивать его пальцы из решетки. Малышка оказалась в поезде, и он, не обращая внимания на окружающих, сгреб ее в жадные объятия и зарыдал. Потом он заметил пятна крови на ее новой одежонке. "Куда ты ранена, — страшно закричал он, — куда ты ранена?" Она покачала головой и пальцем показала на него самого. Тогда до него дошло, что он испачкал ее своей собственной кровью. Она текла из его головы, скальп был разодран, и седые волосы становились черными прямо на глазах.

Оказавшийся, по счастью, в поезде доктор облегчил Тятины страдания и сделал ему укол. После этого он не очень-то отчетливо представлял происходящее. Он спал поперек двух кресел, сунув руки под голову. Он чувствовал или сознавал, что поезд движется, а дочь сидит напротив. Она смотрела в окно. Они были единственными пассажирами в специальном вагоне до Филадельфии. Иногда до него долетали какие-то неразличимые голоса, но он никак не мог побудить себя понять их. В то же время он совершенно отчетливо видел Малышкины глаза, в которых медленно продвигались снежные холмы. Таким образом он и проехал до Бостона, а потом до Нью-Хейвена, через Вустерское Ржаное и Нью-Рошелл, через паровозные поля Нью-Йорка, через реку в Нью-Джерси и, наконец, в Филадельфию.

Здесь два наших беженца нашли скамью на станции и на ней провели ночь. Тятя был еще не в себе. К счастью, в кармане у него оказалась часть недельной получки, отложенная в уплату за квартиру. Малышка сидела рядом на отполированной скамье и с интересом наблюдала петлянье людишек по огромной станции. Был ранний час, и уборщик, толкая огромную щетку, обихаживал мраморный пол. Как обычно, казалось, что Малышка абсолютно спокойна и полностью принимает новую обстановку. У Тяти же голова раскалывалась. Распухшие руки зудели. Он не знал, что делать. Мысли отсутствовали. Однако они были теперь в Филадельфии.

Утром он подобрал выброшенную газету. На первой полосе был подробный отчет о полицейском терроре в Лоуренсе Массачусетском. Обнаружив вдруг в кармане сигареты. Тятя закурил и стал читать. Передовица призывала федеральное правительство расследовать это возмутительное бесчинство. Было ясно теперь, что стачечники победили. Ну и что дальше? Ему послышалось клацанье ткацких станков. Шесть долларов с мелочью в неделю. Нет-нет, эта страна не даст ему ни дохнуть, ни выдохнуть. Нет никакого смысла возвращаться в Лоуренс, ни малейшего. Плевать на оставшиеся пожитки, на это тряпье, плевать. "Что у тебя тут с собой?" — спросил он у дочки. Она показала ему содержимое своего ранца: исподнее бельишко, гребешок, щетка, шпильки, подвязки, чулки и книжки с силуэтами его собственного производства — трамвай и фигуристка. Быть может, с этого момента Тятя начал ощущать, как его жизнь неумолимо отделяется от судьбы рабочего класса. "Я ненавижу машины", — заявил он своей дочери. Он встал, и она встала, они взялись за руки и пошли искать выход. Да, кто спорит, ИРМ выиграл, но что он выиграл несколько грошей в получку. Будет ли он теперь владеть мануфактурой? Хотите знать ответ? Нет, не будет.

Совершив утренний туалет в общественных уборных, они позавтракали в станционном кафе булочками и кофе, а затем провели весь день, шляясь по улицам Филадельфии. Милое дело – разглядывать витрины, а если ноги замерзнут, можно зайти в универмаг отогреться. Это был огромный торговый центр, все проходы которого кишели покупателями. Малышку заинтересовали проволочные ящички, что двигались по тросу над прилавками. В них перемещались деньги и чеки – от приказчика к кассиру и обратно. Приказчик дергал за ручку – и коробочка снижалась ему в руки, дергал другую – и коробочка уплывала вверх. А манекены-то, манекены, похожие на разросшихся кукол в атласных тогах и

широкополых шляпах, украшенных перьями белой цапли. "Одна такая шляпка, и поцелуйте ваше недельное жалованье", – сказал Тятя.

Позже, на другой улице, они увидели длинный ряд зданий с платформами, прямо к которым подходили железнодорожные рельсы. Витрины оптовых компаний представляли мало интереса, однако Малышка вдруг застыла у одной из них, где за грязным стеклом были выставлены безделушки, изобретения Франклинской компании новинок, высылающей товар по почте. В это время бизнесмены стали извлекать доход из так называемых "новинок", пустив на поток разного рода дубовые шуточки и "магические трюки". Резиновые розы для лацкана, брызгающие струйками воды; коробочки с чихательной пудрой; телескопы, оставляющие черный кружок вокруг глаза; взрывающиеся колоды карт, стеклянные прессы, в которых идет снег, если их потрясти; магические кольца, резиновые египетские танцовщицы; сонники; взрывающиеся сигары; взрывающиеся спички; взрывающиеся самописки; взрывающиеся часы; взрывающиеся яйца.

Тятя смотрел на эту витрину гораздо дольше Малышки, а когда она потянулась уйти, он, напротив, ввел ее внутрь. Он снял шляпу и обратился к мужичку в полосатой рубашке с резинками на рукавах. "Ну-ну, – дружелюбно сказал тот, – дайте-ка глянуть". Тятя вытащил из Малышкиного ранца книгу с фигуристкой. Он держал книгу на расстоянии вытянутой руки и щелкал страницами. Маленькая фигуристка катила прямо на вас, а потом удалялась, выписывала "восьмерку", кружилась в пируэте, отвешивала грациозный поклон. Брови у хозяина поползли вверх. "Дайте-ка мне попробовать". Часом позже Тятя вышел с двадцатью пятью долларами наличными и с контрактом еще на четыре книжки по двадцать пять долларов каждая. Франклинская компания новинок собиралась начать выпуск этих "кинокнижек". "Пошли, — сказал Тятя своему единственному ребенку, — мы снимем сейчас комнату в хорошем квартале, накупим еды и примем ванну".

Итак, жизнь нашего художника влилась теперь в поток американской энергии. Работяги бастовали и умирали, но на городских улицах свободный предприниматель готовил в ведре с горящими углями сладкий картофель и продавал его тут же за пару грошей. Улыбчивый шарманщик тоже имел свою булку с маслом. Фил Скрипач в перчатках с обрезанными пальцами и в дождь и в ведро выпиливал свою житуху под окнами особняков. Фрэнки Чистоган пялил зенки на дочек уолл-стритовских деляг, увлекающихся конным спортом. По всему континенту купцы нажимали большие круглые клавиши кассовых машин. Очень ценилось тождество. Каждый город желал иметь свой фонтанчик бельгийского мрамора, дабы вкушать рядом мороженое и содовую воду. Дантист Паркер повсюду предлагал совершенно безболезненно вылечить зубы. В Хайленд-Парке, штат Мичиган, первый автомобиль модели "Т" шатко съехал с конвейерной линии в траву под ясными небесами. Черный и нескладный коробок, высоко стоящий над землей. Изобретатель смотрел на него издали. Котелок-"дерби" на затылке. Челюсти пережевывают соломинку. В левой руке карманные часы. Работодатель множества людей, среди которых порядочно иностранцев, он твердо верил, что большинство человеческих существ тупы и неспособны к достойной жизни. Он изобрел и разработал идею разбивки рабочих операций на простейшие элементы так, чтобы любой олух мог их производить. Вместо того чтобы обучать каждого сотням всяких манипуляций, связанных с постройкой автомобиля, вместо того чтобы таскаться туда-сюда за разными деталями, почему бы этому каждому не стоять на одном месте, делая одну и ту же операцию снова и снова, между тем как детали будут проплывать мимо него на движущихся ремнях. В этом варианте мы совершенно независимы от умственных способностей трудящегося. Человек, который всовывает винт, не накидывает на него гайку, так говорил изобретатель своим сотрудникам. Человек, который накидывает гайку, не закручивает ее. Идея этих движущихся поясов озарила его однажды на бойне, где он увидел, как коровьи туши, висящие на стропах, проплывают над головами мясников. Он передвинул языком соломинку из одного угла рта в другой и посмотрел на часы. Часть его гения состояла в том, что он казался своим сотрудникам и своим конкурентам не таким смекалистым, как они сами. Носком ботинка он повозился в траве. Ровно через шесть минут идентичный автомобиль появился на съезде, задержался на один момент, словно показываясь холодному утреннему солнцу, а потом скатился вниз и стукнулся в задок первача. До этого Генри Форд был простым производителем машин. Сейчас он испытал такой мощный экстаз, какого до него не сподобился ни один американец, не исключая и Томаса Джефферсона. Он заставил машину повторять саму себя до бесконечности. Производители работ, менеджеры и помощники ринулись к нему с рукопожатиями. На их глазах были слезы. Он выделил шестьдесят секунд на выражение чувств, а затем отослал всех по рабочим местам. Он знал, что можно внести еще множество улучшений, и он был прав. Контролируя скорость конвейера, он может контролировать уровень выработки. Он вовсе не хотел, чтобы рабочий горбатил больше, чем надо. Каждая секунда должна быть необходима для работы, но ни одной секундой больше. Исходя из этих принципов, Форд установил конечную задачу индустриального производства – не только части продукции должны быть внутризаменяемы, но и люди, выпускающие эту продукцию, должны быть внутризаменяемы. Вскоре он начал выпускать три тысячи "тачек" в месяц и продавал их во множестве. Ему предстояло прожить долгую и активную жизнь. Он любил животных и птиц и среди своих друзей называл Джона Бэрроуза, старого натуралиста, изучавшего жизнь скромных лесных тварей – суслика и енота, крапивника и черноголовой синицы чикади.

Достижения Форда не вознесли его, однако, на вершину пирамиды, ибо вершина была уже занята другим человеком.

Конторы компании Джей Пи Моргана помещались в No 23 по Уолл-стрит. Однажды утром великий финансист приехал на работу одетый, как обычно, в темно-синий костюм, черное пальто с каракулевым воротником и цилиндр. Ему нравилось быть слегка старомодным. Когда он вышел из лимузина, автомобильная штора упала к его ногам. Один из нескольких банковских служащих, бросившихся ему навстречу, распутал штору и повесил ее с внутренней стороны дверцы. Шофер рассыпался в благодарностях. Тут еще и переговорная трубка слетела со своего крючка, и другой служащий водрузил ее на место. Престраннейшие падения каких-то никчемных предметов, почему-то привлекшие особое внимание автора. Пока Морган маршировал в свой банк, помощники, подручные и даже некоторые из клиентов вились вокруг, как птицы. Морган постукивал тростью с золотым набалдашником. Это был один из дней семьдесят пятого года его жизни. Дородный шестифутовый мужчина с большой головой в редких седых волосах, с белыми усами и яростными глазами, посаженными столь близко друг к дружке, что можно было предположить некоторую психопатологию. Благосклонно принимая почтительные поклоны служащих, он прошагал в свой кабинет, скромную комнату со стеклянными стенами на основном этаже банка, откуда он, sk виден каждому, да и этот каждый, между прочим, чувствовал на себе его глаз. Он отдал шляпу и пальто. Воротничок крылышками и галстук-фуляр. Водрузившись за столом, он не обратил в это утро внимания на депозитные счета, с которых обычно начинал свой день, но сказал помощникам: "Я хочу познакомиться с этим жестянщиком, ну как его, этого малого, Форд".

Он почувствовал в размахе фордовских дел жажду власти, столь же имперской, сколь его собственная. Это был первый знак того, что он может быть не одинок на этой планете. Пирпонт Морган был классический американский герой. Человек, рожденный в исключительном достатке, тяжким трудом и безжалостными кулаками приумножил семейный капитал за пределы всякой видимости. Он контролировал 741 директорат в 112 корпорациях. Однажды он предоставил заем правительству Соединенных Штатов, что спасло данные Штаты от банкротства. Мановением руки, а также ввозом сотни миллионов в золотых слитках он остановил панику 1907 года. В собственных поездах и яхтах он пересекал все границы и повсюду в мире чувствовал себя как дома. Монарх невидимой транснациональной империи капитала, чей суверенитет был признан повсюду. Он был своего рода ниспровергателем, оставлявшим королям только их территории, но забиравшим у них железные дороги и корабельные линии, банки и тресты, заводы и прочие полезные вещи. Годами его окружали компании друзей, дружков, знакомых, которых он всех в грош не ставил. Он был бесконечно разочарован. Повсюду мужчины склонялись перед ним, а женщины себя позорили. Лучше чем кто-либо он знал холод и опустошение неограниченного успеха. Обычные проявления ума и инстинкт сделали его за последние пятьдесят лет сверхвыдающейся личностью в делах разных стран, но он думал о человечестве в целом. Была, впрочем, одна вещь, напоминавшая всем – и ему в первую очередь – о его человеческой природе: хроническая кожная болезнь, колонизировавшая его нос и превратившая этот орган в своего рода гигантскую клубнику, подобную премированным сортам калифорнийского волшебника-селекционера Лютера Бэрбанка. Это огорчение явилось к нему, когда он был еще молодым мужчиной. Он становился все старше и богаче, а нос все больше. Он научился одним взглядом осаживать людей, которые глазели на это, но сам всю жизнь ежедневно, вставая, экзаменовал *это* в зеркале, находя, разумеется, *это* отвратительным, но в то же время испытывая странное удовлетворение. Ему казалось, что всякий раз, когда он делал удачные приобретения, или манипулировал закладными, или захватывал новую отрасль индустрии, еще одна

почечка на этом лопалась и распускалась в ярко-красном цветении. Его любимой историей в литературе было сочинение Натаниэла Готорна "Родимое пятно", которое повествовало об исключительно прелестной женщине, чья красота была бы полной, если бы не маленькая родинка на щеке. Ее муж, ученый, разработал средство для того, чтобы избавить ее от этого несовершенства. Она выпила лекарство — и что же: родинка стала исчезать, но когда ее последние смутные очертания растаяли и кожа очистилась, дама тут же умерла. Морган считал свой чудовищный нос прикосновением господа, знаком вечности. Это было его самое твердое убеждение.

Однажды он устроил обед в своей резиденции на Мэдисон авеню в честь дюжины самых могущественных персон Америки. Он полагал, что собранная вместе энергия их умов может выгнуть стены его дома. Рокфеллер напугал его известием о своем хроническом запоре и о том, что большинство идей приходит к нему теперь в туалете. Карнеги задремал над своим бренди. Гарриман исторгал банальности, вздор. Собранной вместе элите не о чем было говорить. Это устрашило Моргана. Сердце дрогнуло. Электрические ветры вселенской пустыни прошли через его мозг. А ведь он приказал слугам увенчать лавровыми венками эти черепушки. Без исключения, вся дюжина могущественнейших американцев выглядела ослами, более того, ослиными жопами. Единственное, что в них было, это помпезность, уверенность, что богатство дает им право на значительность. Их бабы боялись улыбнуться. Настоящие ведьмы. Они сидели на своих солидных драпированных задницах, груди нависали над декольте. Ни единой унции смысла. Ни огонька в глазах. Верные супружницы больших человеков. Сознание своего значения высосало всю жизнь из их телес. Не показывая своих чувств, Морган спрятался за привычное свирепое выражение. Был призван фотограф. Вспышка торжественный момент зафиксирован.

Погрузившись на "Океаник", лайнер компании "Белая звезда", он сбежал в Европу. Ну, понятное дело, он объединил "Белую звезду", "Красную звезду", "Америкен", "Доминион", "Атлантический транспорт" и "Лейленд" в одну компанию со 120 океанскими судами, потому что презирал всяческое рвачество на море, как и на суше. Ночью он стоял опершись на борт парохода, слушая взбухание и опадание тяжелого океана, чувствуя его близость, но не видя его. Море и небо были неразличимы в темноте. Нечто вроде чайки вымахало вдруг из мрака, должно быть, привлеченное его носом, и село на поручень невдалеке. "Мне нет равных", — горько сказал Морган этой птице. Недискутабельная истина. Так или иначе, он катапультировал себя за пределы мировой системы ценностей. Этот факт, однако, как бы накладывал на него священную ответственность поддерживать иллюзии в мужчинах по всему миру. Масса ответственности. Для епископальной братии он построит собор святого Иоанна Богослова на 110-й улице в Нью-Йорке. Для собственного семейства он всегда будет обеспечивать видимость благопристойной домашней тягомотины. Ради благополучия своей страны он будет жить, как ни одному гранду не снилось, обедать с королями, скупать искусство в Риме и Париже или появляться столь гармонично в окружении красивых спутниц в Эксле-Бене.

Короче, Морган держался в образе. Половину каждого года он проводил в Европе, величественно передвигаясь из одной страны в другую. Трюмы его кораблей были заполнены коллекциями живописи, редких манускриптов, первых изданий, бронзы, нефрита, автографов, гобеленов, кристаллов. Он вглядывался в глаза рембрандтовских бюргеров и прелатов Эль Греко, тщась найти в них царство истины, свет которой поверг бы его на колени. Палец его копался в иллюстрированных текстах средневековых библий, будто стараясь извлечь оттуда истинную пыль Божьего Града. Он чувствовал: если есть в природе некое высшее знание, то надо его искать в прошлом. Он был полностью убежден в банкротстве настоящего. Он сам и был настоящим. Он нанимал экспертов для поисков искусства прошлого и ученых мужей, которые толковали бы ему древние цивилизации. Все дальше и дальше уходил он от фламандских гобеленов. Римская скульптура. Акрополь. Камешки из-под ног. Отчаянные изыскания неизбежно вели его к цивилизации Древнего Египта, где знали, что вселенная неизменна и за смертью тут же следует

возобновление жизни. Он был увлечен. Какой поворот в размышлениях! Тут же была основана египетская археологическая экспедиция музея "Метрополитен". Он не пропускал мимо своего внимания ни одной стелы, ни одного амулета или сосуда с потрохами. Он лично отправился в Долину Нила, где солнце никогда не устает вставать в ослепительном сверкании, а река с неменьшим усердием затопляет берега. Морган врубался в клинопись. Однажды вечером он покинул свой отель в Каире и отправился на спецтрамвае за семь миль к Великим Пирамидам. В ясном синем свечении луны он услышал от местного гида некую мудрость, отнесенную к Осирису Великому. Есть священное племя героев, компания богов, которые совершенно регулярно рождаются в каждом веке, чтобы вести за собой человечество. Эта идея потрясла его. Чем больше он думал, тем более осязаемо он это ощущал. Именно тогда, вернувшись в Америку, он стал думать о Генри Форде. У него не было иллюзий, что Форд — джентльмен. Напротив, он считал его деревенщиной, невежественным, как полено. Однако он находил в фордовском умении использовать людей что-то от фараонов. Не только это, впрочем: изучая фотографии производителя автомобилей, он находил в нем необычайное сходство с Сети Первым, отцом великого Рамсеса, наиболее сохранявшейся мумией из откопанных в некрополе Фив, что в Долине царей.

Резиденция Моргана в Нью-Йорке находилась на Мэдисон авеню, северо-западный угол 36-й улицы — величественный дом бурого кирпича. К нему примыкала беломраморная библиотека, которая была построена для размещения тысяч книг и произведений искусства, собранных во время его путешествий. Разработано это было в стиле итальянского Возрождения Чарльзом Маккимом, партнером Стэнфорда Уайта. Мраморные блоки были подогнаны без раствора. Снег казался темнее мраморных стен, как заметил Форд, когда прибыл сюда на ленч. Все звуки города были приглушены снегом. У дверей резиденции дежурил полицейский. На углах торчали зеваки с поднятыми воротниками — всегда они сшивались возле дома великого человека.

Морган заказал легкий ленч. Вдвоем без особых разговоров они вкушали авокадо, суп из черепахи, "монтраше", седло барашка, "шато латур", свежие помидоры и эндивии, пирог с ревеневым вареньем, залитый густым кремом, и кофе. Волшебный сервис: блюда появлялись и исчезали, слуги действовали так незаметно, будто все это и не человеческих рук дело. Форд жевал отлично, но к вину не притронулся. Финишировал раньше хозяина. Вполне откровенно пялился на Моргановский носище. Нашел на скатерти хлебную крошку и деликатно поместил ее на кофейное блюдце. Пальцы его праздно терли золотую тарелку.

Завершив ленч, Морган предложил Форду проследовать в библиотеку. Они вышли из столовой и прошли через приемную, где сидело несколько человек в надежде перехватить хоть несколько мгновений Джона Пирпонта. Это были его юристы. Они должны были обсудить с хозяином предстоящий визит в Комиссию палаты представителей по делам банков и финансам. Морган отмахнулся, когда они вскочили ему навстречу. Был здесь также делец-искусствовед в сюртуке, только что прибывший из Рима. Последний встал, только чтобы поклониться.

Ничто из этого не ускользнуло от Форда. Он был человеком домотканых вкусов, однако вовсе не отвергал того, что он полагал императорским двором, отличавшимся от его собственного лишь по стилю. Морган привел его в огромную Западную комнату библиотеки. Здесь они уселись по разные стороны высоченного, в человеческий рост, камина. "Подходящий день, чтобы посидеть у огня", — сказал Морган. Форд согласился. Были предложены сигары. Форд отверг. Он заметил, что потолок позолочен. Стены затянуты красным дамастом. Забавные картины за стеклом в тяжелых рамах — портреты желтоватых душевных людей с золотыми нимбами. В те времена никто, кроме святых, не мог заказать себе портрета. Мадонна с младенцем. Пальцы Форда пробежались по подлокотнику красного плюша.

Морган дал ему освоиться. Он попыхивал сигарой. Наконец он заговорил. "Форд, — сказал он грубовато, — у меня нет интереса к вашему бизнесу или к дележу доходов, нет и ничего общего с вашими конкурентами". Форд кивнул. "Недурные новости", — сказал он с хитреньким блеском в глазах. "Тем не менее я восхищаюсь вашими делами, — продолжал хозяин. — И хотя меня подташнивает при мысли, что теперь любой монголоид, зажавший несколько сот долларов, может иметь авто, я признаю, что будущее — за вами. Вы еще молодой человек пятьдесят или что-то в этом роде? — и, возможно, вы лучше меня понимаете, что надо заниматься специально мобилизацией людских масс. Я потратил всю жизнь на стягивание капиталов и гармоническую комбинацию отраслей индустрии, но я никогда не считал, что использование рабочей силы может являться само по себе чем-то гармоническим и объединяющим, независимо от предприятия, где это происходит. Разрешите мне задать вам вопрос. Когда-нибудь вам приходило в голову, что ваша сборочная линия не только признак индустриального гения, но и проекция органической истины? Куда ни кинь, внутризаменяемость частей — это закон природы. Индивидуумы участвуют в создании своих видов и своих генов. Все млекопитающие воспроизводятся одним и тем же

путем, у них одна и та же система питания, пищеварения, циркуляции, те же самые органы чувств. Очевидно, нельзя сказать, что млекопитающие имеют внутризаменяемые части, как ваши автомобили, но именно схожесть позволяет классифицировать их как млекопитающих. И внутри видов — к примеру, человек — законы природы действуют таким образом, что наши различия возникают на базе нашей схожести. Таким образом, индивидуализацию можно сравнить с пирамидой, которая завершается лишь после водружения верхнего камня".

Форд варил мозгами. "Окромя евреев", – пробормотал он. Моргану показалось, что он ослышался. "Простите?" – "Евреи, – сказал Форд. – Эти ни на кого не похожи. Они-то могут вашу теорию спустить в сортир". Он улыбнулся.

Морган молчал. Он курил сигару. Огонь потрескивал в камине. Ветер бросал заряды снега в окна библиотеки. Морган заговорил снова: "Время от времени я подряжаю ученых мужей помочь мне в философских изысканиях, я надеюсь прийти к какому-то заключению о жизни, которое вне досягаемости человеческих масс. Я предлагаю разделить плоды моих изысканий. Надеюсь, вы не столь наглы, чтобы считать ваши достижения результатом только ваших собственных усилий. Если же вы рассматриваете свой успех именно таким образом, я предупредил бы вас, сэр, об ужасной цене, которую вам придется заплатить. Вы сядете на мель, окажетесь на краю мира, и ни один человек не появится перед вами в пустоте небесного свода. Вы верите в бога?" – "Это уж мое личное дело", – сказал Форд. "Отлично-отлично, – сказал Морган, – я и не ожидал, что человек вашего склада может охватить такую общую идею. Вы, может быть, нуждаетесь во мне больше, чем вы думаете. Предположите, что я мог бы доказать существование всеобщих законов приказания и повторения, которые дают смысл всей деятельности на этой планете. Предположите, я мог бы продемонстрировать вам, что вы являетесь инструментом перенесения в наш современный мир тенденций человеческого тождества, которые подтверждают старейшую мудрость в мире".

Морган внезапно встал и вышел из комнаты. Форд повернулся на стуле. Старик стоял в дверях и энергичным жестом поманил его к себе. Форд пошел за ним через центральный холл библиотеки в Восточную комнату, стены которой были покрыты книжными полками. Там были два верхних яруса с променадами, стекло и полированная медь, так что можно было, невзирая на высоту, легко вытащить любую книженцию. Морган прошел к дальней стене, нажал корешок какой-то книги, и тогда часть полок отъехала в сторону, открыв проход, через который свободно мог пройти человек. "Прошу вас", — сказал он Форду и, проследовав за ним в маленькую комнату, нажал кнопку, после чего полки встали на место.

В комнате стоял скромняга стол, круглый и полированный, два стула с высокими спинками и шкаф со стеклянным верхом для демонстрации манускриптов. Морган включил настольную лампу под зеленым абажуром. "Ни одна душа не заходила еще сюда вместе со мной", — сказал он. Включил торшер, и стеклянный шкаф осветился снизу "Подойдите, сэр", — сказал он. Форд увидел за стеклом древний пергамент, покрытый латинской каллиграфией. "Перед вами фолио одного из первых текстов розенкрутцеров, — сказал Морган, — "Химическая свадьба христианина Розенкрутца". Вы знаете, кто такие были настоящие розенкрутцеры, мистер Форд? Это были христиане-алхимики в Рейнском Пфальцграфстве при курфюрсте Фридрихе Пятом. Мы говорим сейчас о начале семнадцатого века, сэр. Эти великие и добрые люди провозглашали идею таинственного и благого начала, живущего в каждой эпохе в определенных людях, чья задача — приносить пользу всему человечеству. По-латыни это звучит как prisca theologia и обозначает тайную мудрость. Странная вещь, но эта вера была не только у розенкрутцеров. Мы знаем, что в Лондоне в середине того же столетия существовало общество, называвшееся "Невидимая коллегия". Его члены были носителями того же благого начала, о котором я говорю. Вы, конечно, ничего не знаете о писаниях Джордано Бруно, а между тем вот здесь имеется образчик — страница, написанная его собственной рукой. Мои грамотеи проследили все это дело, как хорошие сыщики, и выяснили

существование этой идеи и тайных обществ, поддерживавших ее, в большинстве культур Ренессанса, в средневековье и в Древней Греции Надеюсь, вы не потеряли нить моей мысли? Первейшее записанное упоминание об особых людях, рождающихся в каждом веке, с их prisca theologia для облегчения страданий человечества, пришло к нам из греческого перевода трудов египетского жреца Гермеса Трисмегистуса. Именно Гермес дал имя этому оккультному знанию – герметика. – Толстым указательным пальцем Морган припечатал еще один участок стекла на своем шкафу, где виден был кусок розового камня с еле заметными геометрическими начертаниями. – Это, сэр, быть может, образчик подлинного письма Гермеса, сделанного клинописью. А теперь разрешите мне вас спросить. Почему вы полагаете, что идея, имевшая хождение в каждом веке, при всех цивилизациях, исчезла в нынешние времена? Только потому, что век науки вышвырнул этих людей и их мудрость за пределы видимости? Я отвечу вам: подъем механической науки, все эти Ньютоны и Декарты, был великим заговором мировой дьявольщины – заговором, чтобы разрушить наше представление о реальности и нашу уверенность в существовании среди нас трансцендентально одаренных персон. Тем не менее они есть среди нас. В каждом веке они среди нас. Они возвращаются, вы понимаете? Они возвращаются!"

Морган пылал от возбуждения. Он показал Форду в дальний угол комнаты, где тот увидел еще какойто предмет мебели — что-то прямоугольное, покрытое бархатом с золотом. Морган зажал угол этого покрывала в кулак и, со свирепым триумфом глядя на своего гостя, сдернул его и швырнул на пол. Форд обследовал эту штуку. Стеклянный чемоданище, запаянный свинцом. Внутри был саркофаг. В комнате слышалось только жесткое взволнованное дыхание старика. Саркофаг был сделан вроде бы из алебастра, а на верхушке имелось изображение того приятеля, который лежал там внутри. Изображение сделано золотым листом, красной охрой и синей краской. "Вот это, сэр, — проговорил Морган хрипло, — это гроб великого фараона. Египетское правительство и весь археологический мир уверены, что он находится в Каире. Если бы узнали, что я завладел им, поднялся бы шум на весь мир. У этой вещи буквально нет цены. Мои египтологи обеспечили полную сохранность от действия воздуха. Под маской, которую вы видите, мумия великого фараона Девятнадцатой династии Сети Первого, извлеченная из храма Карнака, где она пролежала больше трех тысяч лет. Я покажу это вам со временем. Дайте мне только увериться, что зрелище великого владыки будет представлять для вас интерес".

Моргану необходимо было восстановить силы. Он подтянул стул и сел к столу. Медленно его дыхание приходило в норму. Форд сел напротив и со всем почтением к физическим трудностям преклонного возраста тихо взирал на собственные ботинки. Коричневые зашнурованные ботинки, купленные по каталогу Эл Эл Бина. Отличная, удобная обувь. "Мистер Форд, — сказал Морган, — я хочу пригласить вас в экспедицию по Египту. Это, знаете ли, место, сэр! Оттуда все пошло. У меня будет пароход, построенный специально для плавания по Нилу. Вы поедете? Это не потребует от вас никаких затрат. Мы должны дойти до Луксора и Карнака, до Великой Пирамиды в Гизе. Нас так мало, сэр. Мои деньги привели меня к дверям определенных криптов, расшифровали священные иероглифы. Почему же нам не получить удовлетворение от познания того, кто мы есть и что такое вечная благая сила, которую мы воплощаем?"

Форд сидел слегка ссутулившись. Его длинные руки лежали на ручках кресла, будто сломанные в запястье. Он оценивал все то, что было сейчас сказано. Посмотрел на саркофаг. Наконец, когда он решил, что все понял, он торжественно кивнул и заговорил в ответ: "Если я вас правильно понимаю, мистер Морган, вы тут толкуете о перевоплощении. Ну, хорошо, дайте-ка я вам теперь скажу кое-что об этом. В молодые годы у меня был уж-жасающий кризис вот здесь, в душе, я так подумал, что у меня нет призвания к тому, что я делаю. Кремешок-то во мне был олл-райт, выдержка была, но я был обычный деревенский мальчик, дальше своей хрестоматии ничего не видел. Вообще-то я знал про все, как что работает. Бывало, посмотрю на что-нибудь и сразу говорю, как это работает, а может, даже и покажу, как заставить эту штуку работать лучше. Однако интеллектуалом я не стал, вы понимаете, просто не было терпенья к этим

позолоченным словечкам".

Морган слушал, боясь пошевелиться.

"Ну, что дальше, – продолжал Форд, – Дальше случилось мне вытянуть где-то маленькую книжонку "Вечная мудрость восточных факиров", так, значит, называется, а выпущена Франклинской компанией новинок, что в Филадельфии, штат Пенсильвания. И в этой книженции, которая стоила мне двадцать пять центов, я нашел все, в чем нуждался, чтоб успокоить свою башку. Перевоплощение – это единственное, во что я верю, мистер Морган. Я лично свой гений объясняю, значит, таким образом: некоторые из нас живут чаще, чем другие. Так вот, видите, вы тратили свои денежки на разных грамотеев и путешествия ради того, что я уже знал. И я вам вот еще что скажу, в благодарность за угощение: я вам, пожалуй, одолжу почитать свою книжонку. Чего вам суетиться со всеми этими латинскими штуками, таскать мусор ведрами из Европы, строить пароходы, чтоб плавать по Нилу и искать то, что вы по почте получите за два куска?"

Мужчины смотрели друг на друга. Морган откинулся на стуле. Кровь ушла из его лица, и ярость в глазах померкла. Когда он заговорил, это был голос слабого старика. "Мистер Форд, — сказал он, — если моя теория выживет после соприкосновения с вами, значит, она выдержала последнее испытание".

Тем не менее лед тронулся. Через год после этого экстраординарного свидания Морган совершил путешествие в Египет. Хотя Форд и не поехал с ним, он признал возможность своего священного происхождения. Вместе они основали самый секретный и эксклюзивный клуб в Америке – "Пирамида", единственными членами которого были они сами. Клуб финансировал определенные поиски, которые упорно продолжаются и по сей день.

Разумеется, в тот момент нашей истории образы Древнего Египта захватили все умы. Это происходило благодаря открытиям британских и американских археологов, о которых постоянно сообщалось из пустыни. После футболистов в их подбитых войлоком парусиновых трусах по колено и кожаных шлемах археологи стали звездами второй величины в университетах. Мумификация подробно описывалась в воскресных приложениях, а похоронные процедуры египтян стали предметом обсуждения в среде шакалов-репортеров. Египетские мотивы избраны были для украшения интерьеров. Отошел Людовик Четырнадцатый, а на его место пришли тронные кресла с резными ручками в виде змеи. У Родительницы в Нью-Рошелл тоже не было иммунитета к моде, она нашла, что флора на стенах столовой стала угнетающе унылой, и заменила ее элегантными изображениями египтян и египтянок с глазами, как ягодки терна, в головных уборах и коротких юбках. Раскрашенные красной охрой, синим и рыжим египтяне в своей особенной египетской манере шли парадом вдоль стен с хищниками на ладонях, со снопами пшеницы, водяными лилиями и лютнями. Их сопровождали львы, скарабеи, совы, быки и какие-то неопределенной принадлежности отчлененные конечности. Родитель, весьма чувствительный к любым изменениям, находил, что аппетит от этого падает. Ему казалось не очень-то уместным подвергаться захоронению, если хочешь просто пообедать.

Малыш, однако, полюбил новые украшения и даже был вдохновлен ими на изучение иероглифов. Он забросил "Еженедельник Дикого Запада" ради журналов, в которых публиковались истории о разграбленных могилах и о том, как осуществлялись проклятья потревоженных мумий. Черная женщина на чердаке чрезвычайно интриговала его, она, разумеется, стала уже в его тайных играх нубийской принцессой, захваченной в рабство. В полном неведении об этом девица сидела, как обычно, у своего окна, пока он пробирался мимо ее комнаты в клювастой маске ибиса, которую сделал сам из папье-маше.

Однажды в воскресенье после обеда новенький "фордик-Т" медленно взобрался на холм и прошел мимо дома. Малыш, увидевший это с крыльца, ринулся вниз по ступеням и замер на тротуаре. Автомобилист озирался по сторонам, как бы ища определенный адрес; он завернул за угол, но вскоре вернулся. Подъехав поближе, он поставил мотор на холостой ход и поманил Малыша к себе рукой в шоферской перчатке. Это был негр! Его машина сияла. Начищенные части резали глаза. Стеклянный ветровик и брезентовый верх. "Я ищу молодую женщину из цветных, ее имя Сара, — сказал он. — По сведениям, она обосновалась в одном из этих домов". Малыш понял, что речь идет о женщине на чердаке. "Она здесь". Человек заглушил мотор, поставил машину на тормоз и спрыгнул вниз. Он поднялся по каменным ступеням, прошел под норвежскими кленами и, обойдя дом, приблизился к задней двери.

Когда вышла Мать, цветной человек оказался весьма почтительным, но в то же время было что-то беспокоящее в его решительности и в том ощущении собственного значения, с каким он осведомился, нельзя ли видеть Сару. Мать не могла определить его возраст. Это был коренастый мужчина с полнокровным коричневым глянцевым лицом. Высокие скулы и большие темные глаза такой интенсивности, что, казалось, он смотрит насквозь. Аккуратные усики. Одет он был с претензией на достаток, что характерно для некоторой части цветного люда. Хорошо подогнанное черное пальто, полосатый костюм, черные ботинки с дырчатым узором. В руках он держал кепи цвета жженого угля и шоферские очки. Мать попросила его подождать и закрыла дверь. Поднялась на третий этаж. Сара не сидела, как обычно, у окна, но стояла в неуклюжей позе посреди комнаты, сжав перед собой руки и глядя на дверь. "Сара, – сказала Мать, – там тебя просят. – Девушка молчала. – Ты спустишься на кухню?" – "Нет, мэм, – мягко сказала она, глядя в пол. – Прогоните его, пожалуйста". Так много слов она еще ни разу не произнесла за все месяцы жизни в доме. Мать спустилась и нашла этого приятеля не за дверью, но внутри,

на кухне, где в теплом углу возле плиты почивал в своей колясочке Сарин бэби. Это была плетеная коляска на колесах с выцветшей обивкой из голубого атласа и с плюшевым валиком. Ее собственный сын когда-то спал в ней, а до него — Братец. Чернокожий стоял сейчас на коленях возле коляски и взирал на дитя. Мать вдруг почему-то страшно разъярилась, как это он осмелился войти в дом без приглашения. "Сара не может вас видеть", — сказала она и распахнула дверь. Цветной бросил последний взгляд на ребенка, поднялся, поблагодарил и отбыл. Она стукнула дверью сильнее, чем следовало. Бэби проснулся и заплакал. Она вытащила его и стала успокаивать, удивляясь своей столь резкой реакции на визитера.

Таким было первое появление на авеню Кругозора цветного человека в автомобиле. Его звали Колхаус Уокер Младший. Начиная с этого воскресенья он появлялся каждую неделю, всегда стучался в заднюю дверь и удалялся без всяких возражений, когда Сара снова и снова отказывалась видеть его. Отец считал все это какой-то досадной чепухой и предлагал отбить у негра охоту приезжать. "Возьму и позвоню в полицию", — сказал он. Мать положила ладонь на его руку. В одно из воскресений цветной господин оставил — надо же — букет желтых хризантем, которые в этом сезоне стоили немалых денежек. Перед тем как отнести цветы Саре, Мать остановилась у окна гостиной. На улице чернокожий сметал пыль со своей машины, протирал спицы, ветровое стекло и фары. Он глянул на окошко третьего этажа и поехал. Взгляд этот напомнил Матери семинаристов в Огайо, которые с тем же выражением на лице поджидали ее, когда ей было семнадцать. Она сказала отцу: "Ты знаешь, то, что мы видим, не что иное, как ухаживание, да причем в самом консервативном христианском духе". Отец ответил: "Да, конечно, если можно назвать ухаживанием то, что уже произвело на свет ребеночка". — "Я нахожу это замечание бестактным, — сказала Мать. — Было страдание, теперь раскаяние. Это просто грандиозно, и мне очень жаль, что ты этого не видишь".

Черная девушка ничего не говорила о своем визитере. Они понятия не имели, где она его встретила и как это случилось. Насколько они знали, у нее не было ни семьи, ни друзей в черной общине их города. Впрочем, кроме плотно осевших негров в городе был, конечно, и текучий элемент. Очевидно, она как раз была текучим элементом и приехала сюда из Нью-Йорка, ища место служанки. Нынешняя ситуация чрезвычайно оживила Родительницу. Впервые с того ужасного дня, когда она нашла в клумбе негритенка, она увидела надежду на лучшее будущее для Сары. Она подумала о том, как Колхаус Уокер Мл. едет сюда из Гарлема, где он живет, и как тут же возвращается обратно, и решила, что в следующий раз пригласит его в гостиную на чашку чая. Родитель поинтересовался, уместно ли это. "Почему же нет, — сказала Мать, — он говорит и ведет себя как джентльмен. Я не вижу тут ничего зазорного. Когда мистер Рузвельт был в Белом доме, он обедал с Букером Ти Вашингтоном. Естественно, и мы можем пригласить к чаю Колхауса Уокера Младшего".

Вот так случилось, что в следующее воскресенье негр пил с ними чай. Отец заметил, что он отнюдь не страдал застенчивостью, сидя в гостиной с чашкой и блюдцем в руках. Напротив, он вел себя так, словно это была самая естественная вещь в мире. Никакого благоговения или сверхпочтительности. Любезность и корректность. Он рассказал им о себе. Он был профессиональным пианистом и сейчас осел более-менее постоянно в Нью-Йорке, получив гарантированную работу в хорошо известном ансамбле, который давал регулярные концерты в "Манхэттен-казино" на углу 155-й и 8-й, "Джим-Европа-Клеф-Клаб-оркестр". "Для музыканта очень важно найти постоянное место, — сказал он, — не требующее разъездов. Я покончил с путешествиями, сказал он, — покончил с бродячей жизнью". Он сказал это весьма пылко, и Отец понял, что это предназначено для третьего этажа. Он пришел в раздражение. "Ну и что же вы играете? — спросил он резко. — Почему бы вам не сыграть для нас?" Чернокожий поставил чашку на поднос, встал, промокнул губы салфеткой, положил салфетку рядом с чашкой и пошел к пианино. Он сел на табуретку и тут же встал, чтобы подвинтить ее для своих ног. Потом он взял аккорд и повернулся к хозяевам. "Сильно расстроенное", — сказал он. Родитель чуть-чуть покраснел "Вы правы, — сказала Мать, — мы ужасно

небрежны". Музыкант вернулся к клавиатуре. "Уолл-стрит-рэг", — сказал он. — Сочинение составлено великим Скоттом Джаплином". Начал играть. Расстроенное или настроенное, "Эолин" никогда не издавало таких звуков. Маленькие чистые аккорды повисали в воздухе, как цветы. Мелодии складывались в букеты. Казалось, что жизнь просто немыслима за пределами, очерченными этой музыкой. Когда пьеса была окончена, Колхаус Уокер повернулся и увидел, что вся семья собралась — Мать, Отец, Малыш, Дед и Младший Брат Мамы, который в подтяжках прибежал сверху узнать, кто здесь играет. Из всех присутствующих он единственный знал рэгтайм. Он слышал это в период своей ночной жизни в Нью-Йорке, но вот уж никогда не ожидал встретить снова в доме сестрицы.

Колхаус Уокер Мл. повернулся обратно к пианино и объявил: "Кленовый лист", сочинение великого Скотта Джаплина". Самый знаменитый из всех рэгов зазвенел в воздухе. Пианист прочно сидел за клавишами, его длинные темные пальцы с розовыми ногтями, казалось, без всякого усилия извлекают гроздья синкопированных аккордов и твердых октав. Полная жизни композиция, мощная музыка, поднимающая чувства и не увядающая ни на миг. Малыш воспринимал это как свет, притрагивающийся к разным местам в пространстве, собирающийся в сложные переплетения, пока вся комната не засверкала вдруг своею собственною сутью. Музыка заполняла лестницу и уходила на третий этаж, где сидела, сложив руки, немая и непреклонная Сара. Дверь у нее, правда, была открыта.

Пьеса завершилась. Все аплодировали. Мать представила мистера Уокера Деду и МБМ, последний пожал пианисту руку и сказал: "Я очень рад познакомиться с вами". Колхаус Уокер был весьма торжествен. Все стояли. Возникла пауза. Отец прочистил горло. Он не был особенно сведущ в музыке. Вкус его замирал на Кэрри Джейкобсе Бонде. Он думал, что негритянская музыка должна быть улыбчивой и подпрыгивающей. "А вы знаете "черномазые песенки"?" – спросил он. Он не собирался быть грубым – эти вещи так и назывались: "черномазые песенки". Пианист, однако, отрекся от них энергичным движением головы: "Черномазые песенки" сочиняются для уличных шоу. Их поют белые, выкрасившись в черный цвет". Возникла еще одна пауза. Пианист посмотрел на потолок. "Ну что ж, — сказал он, — очевидно, мисс Сара не в состоянии меня сейчас принять". Он резко повернулся и прошел через холл на кухню. Семейство последовало за ним. Он надел пальто и, не обращая ни на кого внимания, присел на корточки, чтобы посмотреть на спящего в коляске бэби. Через несколько мгновений он встал, сказал "всего хорошего" и вышел.

Визит этот впечатлил всех, кроме Сары, которая не выказала ни единого намека на смягчение. Колхаус вернулся на следующей неделе, потом еще на следующей. Теперь он как бы навещал семью и всякий раз приносил им новости о своих деяниях в предшествующие шесть дней и, естественно, не предполагал с их стороны ничего, кроме глубочайшего интереса. Отцу было довольно противно важничание этого человека. "Она к нему не выйдет, — говорил он Матери, — и что же, я должен теперь развлекать Колхауса Уокера по воскресеньям всю оставшуюся жизнь?" Мать, однако, увидела уже обнадеживающие симптомы: Сара взяла на себя обязанности уехавшей прислуги и теперь прибирала комнаты с таким рвением, что у Матери иногда возникала смешная иллюзия, будто это не ее дом, а Сарин. Она стала также и ребеночком своим заниматься не только в часы кормления купала его и даже брала к себе в комнату на ночь. И все-таки она еще не принимала своего визитера. Преданный Колхаус ездил всю зиму. Когда дороги были непроходимы из-за снега, он являлся поездом. В дополнение к своему черному пальто он стал носить каракулевую шапку в русском стиле. Он привозил детские вещи. Щетку для волос с серебряной ручкой для Сары. Отцу оставалось только восхищаться его настойчивостью. Он интересовался, каков же заработок у этих музыкантов, чтобы покупать все эти отличные вещи.

Однажды Отцу пришло в голову, что Колхаус Уокер Мл. не знает, что он негр. Чем больше он думал об этом, тем больше убеждался, что это именно так. Цветные люди так себя не ведут, в такой манере не разговаривают. Привычную для своей расы почтительность Колхаус Уокер оборачивал каким-то образом в

пользу своего достоинства. Он величаво толкал кухонную дверь, а когда его принимали, торжественно приветствовал каждого, и всем каким-то образом передавалось ощущение, будто они — Сарина семья, а потому он и относится к ним с такой любезностью и почтением. Отец ощущал какую-то опасность, исходившую от этого человека. "Может быть, нам не следует поощрять его сватовство? — сказал он Матери. — Есть что-то безрассудное в нем. Даже Мэтью Хенсон знал свое место".

Однако к этому времени ход событий нельзя уже было изменить. В конце зимы Сара согласилась встретиться с Колхаусом Уокером в гостиной. Несколько дней шли суматошные приготовления. Мать дала ей одно из своих собственных платьев и помогла подогнать его. Сара спустилась, красивая и застенчивая. Ее волосы были тщательно уложены, и она сидела на софе, потупив глаза, пока Колхаус Уокер вел светский разговор и играл для нее на пианино. Сейчас, когда они оказались рядом, можно было без труда заметить, что он основательно старше ее. Мать настояла, чтобы все члены семьи нашли предлог удалиться, дабы оставить их вдвоем. Ничего, однако, не сдвинулось после этой встречи. Сара выглядела раздраженной и даже злой. Она не торопилась с прощением, и надо сказать, что ее упорство каким-то образом казалось единственным подходящим ответом на его настойчивость. Сара пыталась убить своего новорожденного. Эти люди не могли беззаботно относиться к жизни. Бесконечное жестокое подчинение своих надежд и чувств. Младший Брат Матери понимал это яснее, чем кто-либо другой в семье. Он разговаривал с Колхаусом Уокером только однажды, но почувствовал к нему огромное уважение. Он видел, что негр каждым своим жестом как бы претендует на признание за ним полных человеческих прав. МБМ тяжко размышлял о сложившейся ситуации. Он воспринимал любовь, угнездившуюся в иных сердцах, как физическую мягкость, как некую трещинку в физиологии, сродни рахиту в иных костях и расширению альвеол. У него и у самого было огорченное сердце, и потому он понимал Сару, даром что цветная. Иногда она казалась ему какой-то изгнанной африканской принцессой, ее неуклюжесть в другой среде и в другой стране могла бы, возможно, прослыть грацией. Чем неохотнее она принимала предложение Колхауса Уокера, тем больше МБМ понимал, как ужасно огорчено ее сердце.

Но однажды в марте, когда подул уже мягкий ветер, а на ветвях кленов появились маленькие коричневые почки, Колхаус прибыл в своем сияющем "форде" и оставил мотор работающим. Соседи смотрели со своих участков на престраннейшего негруса, такого, понимаете ли, здоровяка, такого, видите ли, корректного, и на красивую в ее неуклюжести Сару, одетую в розовый жакетик и черную юбку, в широкополую Мамину шляпу. Они прошли под норвежскими кленами и по бетонным ступенькам спустились на улицу. Она несла ребенка. Он помог ей усесться, а сам взялся за руль. Помахав семейству, они проехали по улице и направились к северной окраине города. Там они остановились у обочины. Они смотрели, как птица-кардинал скользит над коричневой землей, а потом резко взмывает к верхушкам деревьев. В этот день он попросил ее руки, и она ответила согласием. Следует сказать, что появление пары этих великолепных любовников в нашем семействе было пугающим, конфликт их характеров имел почти гипнотический эффект. руках и полностью забывал о своей гостье. В другой раз, вместо того чтобы заниматься любовью, он лишь вежливо инспектировал ее интимные местечки. Бывало, что и напивался до бесчувствия. Обедал он в "бифштексных", где стружки на полу. Посещал также и подвальные клубы в "Адской кухне", где угощают хулиганы. Вышагивал ночами по Манхэттену, пожирая глазами прохожих. Вглядывался в окна ресторанов, сидел в вестибюлях гостиниц, чутко оборачивался к любому движению, любому промельку.

В конце концов он нашел редакцию журнала "Матушка-Земля", издаваемого Эммой Голдмен. Красный кирпичный дом на 13-й улице. Несколько вечеров подряд он стоял под фонарем напротив и смотрел на окна. Наконец какой-то человек вышел из дома, пересек улицу и подошел к нему. Высоченный такой труп, длинноволосый, и галстук шнурком. "Холодно по вечерам, — сказал он, — пошли в дом, у нас нет секретов". Младший Брат последовал за ним.

Оказалось, что его приняли за топтуна. С утонченной иронией ему предложили чаю. Усмехающиеся люди в пальто и шляпах стояли вокруг. Тут появилась сама Эмма Голдмен и обратила на него внимание. "Боже ж ты мой, сказала она, — это не полицейский". Расхохоталась. Он был потрясен, что она вспомнила его. Она надела шляпу и закрепила ее булавками. "Пошли с нами", позвала она его.

Через некоторое время МБМ оказался в Союзе медников неподалеку от Бауэри. Зал был раскален и переполнен. Масса иностранцев. Даже внутри мужчины не снимали свои "дерби". Весь этот конгресс в поддержку Мексиканской революции благоухал чесноком и собственными испарениями. Младший Брат за своими делами прохлопал Мексиканскую революцию. Люди размахивали кулаками, вскакивали на скамейки. Оратор поднимался за оратором. Многие говорили не по-нашему. Перевод отсутствовал. Картина тем не менее прояснялась, и постепенно он узнавал, что мексиканские пеоны внезапно восстали против президента Диаса, хотя, казалось бы, могли к нему и привыкнуть за тридцать пять лет его правления. Им нужны были ружья. Амуниция. Они нападали на федеральные войска и поезда снабжения с одним лишь дрекольем и мушкетами, что заряжаются со ствола. МБМ намотал себе на ус насчет мушкетов. Наконец на трибуну поднялась Эмма Голдмен. Из всех ораторов она была наилучшим. Зал затих, когда она заговорила о соучастии богатых землевладельцев в преступлениях презренного тирана Диаса, о порабощении пеонов, о нищете и голоде и о самом большом позоре – о присутствии американского бизнеса в делах мексиканского правительства. Ее мощный голос. Ее жестикуляция. Вспышки огня в ее очках. Он протолкался поближе. Она говорила теперь об Эмилиано Сапате, простом фермере из округа Морелос, который стал революционером за неимением другого выбора. "Представьте себе фигуру в выбеленных штанах и рубахе, перепоясанную патронташами. Товарищи мои, это не иностранец, закричала она. – Нет на свете иностранных земель. Нет мексиканского крестьянина, нет диктатора Диаса. Есть только одна борьба на белом свете, только лишь пламя свободы, старающееся рассеять мрак земной жизни". Оглушительные аплодисменты. Все встали. Начался сбор пожертвований. У Младшего Брата денег не было. Он вывернул карманы и, ужасно страдая, ничего в них не обнаружил. А вокруг люди, от которых разило нищетой, подходили с пригоршнями монет. Он обнаружил, что подобрался уже к самой ораторской платформе. Речи закончились. Эмма стояла, окруженная коллегами и почитателями. Он видел, как она обняла смуглого человека в костюме с галстуком и в огромном сомбреро. Она обернулась, и ее взгляд упал на лысеющего блондинчика, чья голова торчала над краем платформы, как голова французского республиканца, запрокинутая в подобии экстаза. Она засмеялась.

Он надеялся поговорить с ней, когда митинг закончится, но оказалось, что предстоит прием в честь представителя "сапатистов" в редакции "Матушки-Земли". Почетный гость был в сапожках под костюмными брюками, он был очень серьезен, пил чай и вытирал усы тыльной стороной ладони. Комнаты были забиты журналистами, богемой, художниками, поэтами, женщинами-общественницами. МБМ отчаялся привлечь внимание Эммы Голдмен. Она занималась с каждым из гостей, была страшно загружена, но все держала в голове. Нужно было представлять людей друг другу, разным персонам давать разные задания о том, что они должны сделать, куда им нужно пойти, что нужно выяснить, о чем написать. Он чувствовал себя полным невеждой. Эмма Голдмен пошла на кухню за пирогом. "Слушай, – сказала она Младшему Брату, возьми-ка эти чашки и расставь их в большой комнате". Он был очень благодарен, что она и его, наконец, воткнула в свою систему полезных людей. Плакаты "Матушки-Земли" висели по всем стенам. Высокий длинноволосый человек разливал пунш. Это был тот самый, что предложил Младшему Брату зайти. Он выглядел как шекспировский актер-неудачник. Ногти с черной каемкой. Пил он не меньше, чем разливал. Приветствовал людей малоотчетливым пением. Все смеялись, болтая с ним. Его звали Бен Райтмен, это был Эммин сожитель. Что-то там у него было на макушке, какое-то выбритое пятно. Заметив взгляд Младшего Брата, он объяснил, что это случилось в Сан-Диего – его там вымазали дегтем и вываляли в перьях. Эмма туда отправилась выступать, а он, как ее менеджер, снимал залы, договаривался с людьми.

Однако там не хотели, чтобы Эмма выступала. Они схватили его, увезли куда-то, раздели и вымазали дегтем. Прижигали его сигаретами и даже делали кое-что похуже. Пока он рассказывал, лицо его потемнело, улыбка исчезла. Вокруг собрались слушатели. Черпачок для пунша в его руке позванивал о край чаши. Заметив это, он странно улыбнулся — похоже, он не мог оторвать руки от черпака. "Они не хотели, чтобы "момма" выступала в Канзас-Сити, в Лос-Анджелесе, в Спокане, — сказал он. — Однако она выступила. Мы там все тюряги знаем. Мы выиграли. Моя "момма" еще выступит в Сан-Диего". Он засмеялся над своей рукой — трясется, и все. Черпачок позванивал о край чаши.

В этот момент какой-то человек протолкался к столу и сказал: "Вы полагаете, Райтмен, что мир правильно устроен, если вас так непринужденно вываляли в перьях? — Это был совершенно лысый коротышка в очках с толстыми стеклами, с большим мокрым ртом и очень болезненным цветом лица — кожа, как воск. — Вся наша энергия уходит только на то, чтобы защитить самих себя. Мы следуем их стратегии, а не своей собственной. Боюсь, что вы этого не понимаете. Какая же здесь победа, бедный Райтмен, если какой-нибудь либерал с комплексом вины берет вас из тюрьмы на поруки? Он делает это только ради самоудовлетворения. Куда развивается мир?" Двое мужчин смотрели в упор друг на друга. Туг Голдмен дружелюбно позвала из-за мужских спин: "Саша!" Она обошла вокруг стола, вытирая руки о фартук, и встала рядом с Райтменом. Мягко вынула черпачок из его руки. "Саша, мой милый, — сказала она болезненному человечку, — если мы сначала научим их ценить собственные идеалы, потом мы сможем научить их нашим".

Вечеринка затянулась до утра. Младший Брат уже потерял надежду на внимание Эммы. Он сел в позе лотоса на старый диван с продавленными пружинами. Вдруг он заметил, что комната пуста, а Голдмен сидит на кухонном стуле прямо напротив него. Он оказался последним гостем. Безотчетно слезы потекли из его глаз. "Вы действительно удивились, что я узнала вас? спросила Голдмен. – Да как же я могла забыть? Кто мог бы забыть подобное зрелище, мой язычник? – Она притронулась к его щеке и смахнула слезинку. Так трагично, так трагично. – Вздох. – И это все, чего вы хотите от жизни? Ее магнетические глаза пронзали его сквозь толстые стекла очков. Она сидела раздвинув ноги, руки на коленях. – Я не знаю, где она. Но даже если бы я сказала вам, что хорошего? Предположим, вы бы ее вернули. Она будет с вами некоторое время, а потом сбежит, разве нет?" Он кивнул. "Вы ужасно выглядите, – сказала Голдмен. – Что вы с собой сделали? Не едите? Не дышите свежим воздухом? Вы постарели на десять лет. Я вам не сочувствую. Вы думаете, вы какойто особенный, если потеряли свою любовь? Это случается ежедневно и с другими. Предположим, она все-таки согласится жить с вами. Вы буржуазный тип, вы захотите жениться. Меньше чем за год вы сломаете друг друга. Вы увидите, как она начнет стареть и сереть прямо на ваших глазах. Будете сидеть за столом и глазеть друг на друга, чувствуя лишь ужасные путы, которые вы считали любовью. Поверьте мне и держитесь от этого подальше". Младший Брат плакал. "Вы правы, – говорил он, – конечно, вы правы". Он поцеловал ее руку. У нее была маленькая кисть с распухшими пальцами и увеличенными суставами. "Я совсем, совсем ее не помню, – рыдал он. – Это была лишь моя мечта". Голдмен оставалась непримиримой. "Как вам жалко себя! Какая вкуснейшая эмоция! Я вам кое-что скажу. Сегодня здесь были в этой комнате мой нынешний любовник и два прежних. Дружба всего дороже. Общие идеалы, уважение к человеческой персоне в целом. Почему вы отвергаете вашу собственную свободу? Почему вам обязательно надо за кого-то уцепиться, чтобы жить?"

Голова его склонялась все ниже, он смотрел в пол. Вдруг он почувствовал ее пальцы под подбородком. Она подняла его голову и отклонила ее назад. В глаза ему с любопытством смотрели Голдмен и Райтмен. Сквозь отрешенно-придурковатую улыбку Райтмена светился золотой зуб. Голдмен сказала: "Он напоминает мне Чолгоша" [7]. Райтмен сказал: "Это образованный, буржуазный субъект". — "Но в глазах все тот же бедный мальчик, — сказала Эмма, — все тот же бедный опасный мальчик". Младший Брат вообразил себя в очереди на рукопожатие к президенту Мак-Кинли. Носовой платок обмотан вокруг

руки. В платке пистолет. Мак-Кинли падает навзничь. Жилет его окрашивается кровью. Крики ужаса.

Когда он уходил, Эмма Голдмен обняла его в дверях. Ее губы, на удивление мягкие, прижались к его щеке. Он был взят. Шаг назад. Партийная литература из-под мышки — на пол. Согнувшись в дверях и смеясь, они стали собирать книги.

Через час он стоял между вагонами на молочном поезде, идущем в Нью-Рошелл. Он прикидывал, не кинуться ли под колеса. Он слушал их ритм, их устойчивое клацанье, как левая рука в рэгтайме. Скрежет и колотун металла о металл, когда буфера вагонов соприкасались, напоминали синкопирование правой рукой. Самоубийственный рэг. Вагоны подпрыгивали под его ногами. Луна гналась за поездом. Он поднимал лицо к небу, как будто даже лунный свет мог согреть его.

Однажды в воскресенье цветной гражданин Колхаус Уокер попрощался со своей невестой и поехал на своем "фордике" в Нью-Йорк. Было уже пять часов пополудни, и тени деревьев лежали поперек дороги. Путь его проходил мимо пожарного депо "Эмеральдовский движок" — добровольческой пожарной компании, известной лихостью своей парадной униформы и чрезвычайной оживленностью своих пикников. Всякий раз, когда он проезжал мимо пожарки, двухэтажного дощатого строения, он видел волонтеров, которые стояли на улице и вели бесконечный треп, и всякий раз при виде Колхауса они замолкали и провожали его взглядами. Конечно, он знал, что своей одеждой и своим автомобилем он бесконечно провоцирует белый люд. Он знал, что ходит по острию ножа, и ходил по нему.

К этому времени волонтеров стали поддерживать как вспомогательную силу для муниципальных пожарников, и речь уже шла о том, чтобы моторизировать их команды. Пока, однако, этого не случилось. В момент, когда негр приблизился, упряжка из трех серых лошадей внезапно прогалопировала из депо на дорогу. Они тащили большую паровую помпу, благодаря которой "Эмеральдовский движок" был здесь знаменит. На дороге лошадей осадили, что вынудило Колхауса Уокера резко нажать на тормоза.

Два волонтера вышли из здания и как бы не спеша направились к кучеру помпы, который сидел на облучке, глядя на негра и с понтом зевая. Вся эта команда была облачена в синие рубашки с зелеными галстуками, синие, грубо простроченные штаны и сапожищи. Колхаус Уокер отпустил педаль сцепления и вылез из машины, чтобы завести мотор. Волонтеры подождали, пока он раскрутил ручку, а потом довели до его сведения, что он путешествует по частной платной дороге и что далее он следовать не может, не заплатив двадцать пять долларов или не предъявив удостоверения, что он является постоянным жителем этого города. "Однако это общественный, вполне свободный проезд, – возразил Уокер, – я много раз следовал этим путем и никогда ничего не слышал о плате". Он сел за руль. "Позови-ка шефа", – сказал один пожарник другому. Уокер решил дать задний ход, развернуться и поехать другим путем. В этот момент двое других пожарников появились позади машины, таща двадцатифутовую лестницу. Еще двое с точно такой же лестницей. Один, другой, третий с тачками свернутых шлангов, с ведрами, топорами, крючьями и другим снаряжением. Все это они разложили на улице вокруг машины: компания решила проветрить свои помещения именно в этот день и в этот данный момент так уж получилось. Брандмейстер выделялся белой военной фуражкой с петушиным заломом. Он вроде был и постарше, чем остальные. Любезнейшим образом он объяснил Колхаусу, что хотя прежде с него и не брали платы за проезд, порядок этот оставался в силе, так что, если Колхаус не заплатит, он и не проедет, значитца. Он сдвинул фуражку на глаза и задрал голову, чтобы смотреть на негра. Козырек и подбородок – дурацкий, драчливый вид. Тяжеловатый мужчина, толстые лапищи. Волонтеры вокруг усмехались. "Нам нужны деньги для пожарной машины, объяснил Шеф. – Чтоб, значитца, ездить по пожарам, как ты тут ездишь по борделям".

Черный автомобилист спокойно оценивал ситуацию, в которую он попал. Через дорогу напротив "Эмеральдовского движка" было открытое поле, скатывающееся к пруду. Можно было бы съехать с дороги и проложить себе путь по полю вокруг этих лестниц и тачек. Однако они так его здесь заклинили, что вывернуть не удастся, а если слишком резко взять руль, наверняка опрокинешься на склон. Ему и в голову не приходило снискать расположение этой кодлы обычным для его расы путем, то есть попрошайничать и унижаться.

Внизу у пруда играли два негритянских мальчика лет десяти — двенадцати. "Эй, ребятишки!" — позвал их Колхаус Уокер. Они подбежали. Он выключил двигатель, поставил машину на тормоз и попросил мальчиков присматривать за ней, пока он сходит в город.

Очень быстро музыкант завернул за угол и зашагал к деловому центру Через десять минут он нашел полицейского, управлявшего уличным семафором. Полицейский выслушал его жалобу, потом покачал головой, а потом взялся извлекать из очень внутреннего кармана туго идущий носовой платок, а уж после этого стал прочищать нос. "Да это безвредные ребята, — наконец сказал он. — Я их всех знаю. Иди назад и увидишь, что они уже угомонились". Уокер понял, что полицейский выдал ему таким образом максимальную дозу поддержки. Впрочем, может быть, он действительно слишком уж чувствителен, может быть, все это не больше чем проказа? Он пошел обратно к Пожарной аллее.

Лошади с помпой были уведены в депо. Дорога была пуста, а его автомобиль стоял в поле. Он подошел к нему. Машина была забрызгана грязью. Шестидюймовая рваная дыра зияла на брезентовой крыше. На заднем сиденье красовался холмик свежих человеческих экскрементов.

Он пошел через улицу к дверям пожарки. Там стоял, скрестив руки на груди, брандмейстер в своей белой военной фуражке. "Полицейский департамент поставил меня в известность, что в городе вообще нет платных дорог", сказал Колхаус Уокер. "Законно", — сказал Шеф. "Любой человек может следовать по этой дороге в любое время, если у него есть в этом нужда", сказал Уокер. "Ну", — сказал Шеф. Солнце садилось, внутри пожарки зажглись электрические лампочки. Через стеклянные панели дверей негр мог видеть трех серых в их стойлах и знаменитую начищенную до блеска помпу у задней стенки. "Я хотел бы, чтобы мою машину очистили и чтобы повреждения были оплачены". Шеф начал неудержимо хохотать, двое вышли и присоединились к забаве.

В этот момент подъехал полицейский фургон. Вышли два офицера – один из них тот, к кому уже взывал Колхаус Уокер. Он пошел в поле, осмотрел машину и вернулся к пожарке. "Уилли, – сказал он Шефу, – это твои ребята напакостили?" – "Сейчас я вам точно расскажу, что случилось, – сказал брандмейстер. – Черномазый запарковал, значитца, свою проклятую тачку прямо на середине дороги перед станцией. Нам пришлось ее передвинуть. Как считаете, это серьезное дело – заблокировать пожарную команду или не очень?" Волонтеры послушно кивали. Полицейский принял решение. Отвел Колхауса в сторону. "Слушай, – сказал он, – сейчас мы вытащим твою жестянку на дорогу и езжай. Там ничего не поломано. Соскреби говно и забудь всю эту фиговину". "Я ехал своим путем, когда они остановили меня, – "т сказал Колхаус Уокер. Они навалили нечистоты в мой автомобиль и прорезали верх. Я хочу, чтобы машина была чистой, а повреждения оплачены". Офицер начал теперь оценивать манеру его речи, его платье, а главное – сногсшибательный феномен владения собственным автомобилем. Он разозлился. "Если вы не заберете свой автомобиль и не уберетесь отсюда, я вас обвиню в вождении там, где не положено, так? езда в пьяном виде, так? неприглядные действия, так?" – "Я не пью, возразил Колхаус, – я ехал там, где положено, я не разрезал крышу своего автомобиля, и, наконец, я не испражнялся в него. Я требую оплаты повреждений, я требую извинений". Полицейский глянул на брандмейстера, тот ухмылялся, довольный его замешательством: дескать, ты власть, тебе и карты в руки. "Вы арестованы, сказал он Колхаусу, – ну-ка, ты, садись в фургон".

Ранним вечером на авеню Кругозора зазвонил телефон. Звонил Колхаус Уокер. Быстро объяснив, что он задержан полицией и почему, он спросил Отца, не может ли тот внести залог, чтобы он мог успеть в Нью-Йорк к своему представлению. К чести Отца надо сказать, что он соответствовал немедленно, а все дополнительные вопросы отложил на более удобное время. Он вызвал кеб, примчался на полицейскую станцию, выписал чек на пятьдесят долларов. Однако, вернувшись домой и рассказывая о происшествии Матери, он возмутился тем, что Колхаус Уокер не оценил его джентльменства, не рассыпался в благодарностях, но устремился как бешеный к поезду, сказав лишь вежливое "спасибо".

На следующий вечер странный невоскресный визит Колхауса собрал всех домочадцев. Скрестив руки, он сидел в гостиной и повествовал всю историю в деталях. В его тоне не было обиды, он как бы

декламировал, говорил как будто бы о ком-то другом, не о себе. Мать сказала: "Мистер Уокер, мне очень стыдно, что наша община предстала перед вами этой бандой хулиганов". Отец сказал: "У этой команды плохая репутация. К счастью, это исключение, другие волонтеры-пожарники — вполне достойные люди". Младший Брат, скрестив ноги, сидел на табурете у пианино. Полностью захваченный этой историей, он склонился вперед и внимательно слушал. "Где сейчас машина? — спросил он. — А что эти два мальчика? Вы понимаете, это же свидетели". Пианист покачал головой, он провел весь день, разыскивая мальчишек, и нашел наконец, но их родители напрочь отказались участвовать в этом деле. "Для здешних негров я чужак, резонно сказал Уокер. — Им здесь жить, и они не хотят неприятностей. Что касается машины, то я ее больше не видел. Я не подойду к ней до тех пор, пока она не будет возвращена мне в том состоянии, в каком она была, когда я ехал от вас вчера вечером".

За дверью гостиной, прячась от глаз, все это интервью слушала Сара. Она держала на руках своего бэби. Никто из присутствующих не ощущал с такой силой, как она, чудовищность этой беды. Она слышала, как Отец сказал Колхаусу, что если он намерен преследовать свою цель, ему нужно обратиться к адвокату. Существует ведь такая вещь, как вызов в суд свидетелей. "А есть здесь цветные юристы?" — спросил Колхаус. "Я таких не знаю, — сказал Отец, но любой адвокат, которому дорога справедливость, возьмется за это, так я думаю. — Пауза. — Я оплачу все расходы", — сказал он грубоватым голосом. Колхаус встал. "Благодарю вас, но это не потребуется". Он положил конверт на край стола. Пятьдесят долларов наличными. Впоследствии Мать узнала, что эти деньги были из его сбережений для свадьбы.

На следующий день МБМ сам отправился на место инцидента, поехал в Пожарную аллею на велосипеде. "Фордик-Т" был самым тщательным образом испохаблен, волонтерами ли или кем-то другим, теперь уже это было трудно установить. Передком его загнали в воду, колеса утонули в грязи. Фары и ветровик расколочены. Задние шины спущены. Обивка выпотрошена, а брезентовый верх исполосован вдоль и поперек.

Младший Брат стоял у пруда. После того вечера с Эммой Голдмен у него начались значительные терзания. Возникло вдруг удивительное воодушевление, поражавшее людей. Он нес всякую околесицу на грани истерии. Фиксировался на чем-нибудь и накачивал себя до жуткого воодушевления. Он не отходил от чертежного стола, производя бесконечные модификации винтовок и гранат. Отмерялись какие-то маленькие квадратики, производились какие-то вычисления, кончик карандаша ненасытно впечатлял безответную бумагу. В моменты, когда некуда было приложить свои силы, он начинал петь, стараясь услышать себя как бы со стороны. Так, концентрируясь и расходуя огромное количество энергии, он старался удержаться от сползания в громадные дистанции своего несчастья. Оно, однако, затягивало его. Мрак и пустота с неслыханной наглостью колыхались возле его бровей. Временами он ощущал засасывающее кружение пустоты. Но самым ужасным было бесконечное предательство. Он просыпался утром и видел в окне встающее солнце, садился на кровати, прося, чтобы оно исчезло, но потом находил его за собственными ушами или в своем сердце: предательство!

Он решил, что он на грани нервного коллапса. Предписал сам себе холодные ванны и физические упражнения. Купил велосипед "Колумбия". Ночами перед сном он доводил себя до изнурения ритмической гимнастикой.

Ниже этажом Родитель с Родительницей чувствовали, как дом трясется: МБМ прыгал. Они давно привыкли к его эксцентрическим выходкам. Он никогда не доверял им, никогда не делился ни надеждами, ни чаяниями, так что они не замечали никаких особых изменений в его поведении. Мать иногда приглашала его присоединиться к ним в гостиной после ужина, если у него нет планов на вечер. Он пытался. Даже как бы участвовал в беседе. Удушающая обстановка, бахромчатые абажурчики — нет, невозможно. Он презирал их. Он считал их самодовольными, заурядными и равнодушными людьми. Однажды Родитель читал вслух передовицу из местной газеты. Он любил почитать вслух, если находил чтонибудь поучительное или что-нибудь эдакое. Передовица была под заголовком "Глазок весны". "Этот миниатюрный гость наших прудов и полей пришел и кликнул снова, — читал Отец. — Пусть не намного он пригожее своих старших братцев Лягушонка и Жабенка, но мы поем его красоту и говорим: "Добро пожаловать! Здравствуй, гонец Весны!" Молодой человек, готовый задушить в этот момент кого угодно, ринулся прочь из комнаты.

Вопроса нет, МБМ был счастлив оказать поддержку черному пианисту. Стоя на берегу пруда, глядя на поруганный "фордик-Т", на вырванные из мотора проволочки, он чувствовал, как пробегает по его членам малый ток ярости, должно быть, сотая доля того чувства, которое испытывал Колхаус Уокер. Живительная, благотворная ярость. Здесь, в преддверии последующих событий, важно упомянуть, сколь мало было известно о Колхаусе Уокере Мл. Очевидно, он был уроженцем Сент-Луиса Миссурийского. В молодые годы он восхищался Скоттом Джаплином и другими музыкантами Сент-Луиса и оплачивал уроки игры на пианино, горбатя грузчиком в порту. Нет никакой информации о его родителях. Одна бабешка в Сент-Луисе объявила себя его разведенной женой, но доказать это ей было нечем. Не найдено никаких следов его школьного обучения, и остается загадкой, где он приобрел свой куртуазный словарь и манеру речи. Возможно, это было лишь волевым актом.

Когда он достиг уже своей скандальной известности, повсюду говорили и писали, что он далеко не исчерпал всех легальных возможностей, прежде чем взять закон в свои руки. Это не совсем верно. Он посетил трех адвокатов, рекомендованных ему Отцом. Все трое отказались представлять его, ограничившись благими советами забрать свой автомобиль, пока его совсем не разрушили, и забыть все это дело. Он, однако, настаивал, что не собирается забывать, но, напротив, хочет возбудить дело против

"Эмеральдовского движка".

Отец лично телефонировал одному из этих адвокатов, который когда-то представлял его фирму. "Послушайте, – сказал ему адвокат, – вы можете ведь сами пойти с ним, когда начнется слушание дела. Я вам не нужен. Когда владелец собственности в этом городе поддерживает негра в подобных делах, обвинение обычно снимается". – "Но он хлопочет не об оправдании, – возразил Отец, – он сам хочет привлечь к суду". В этот момент какое-то очень важное дело отвлекло адвоката, и он заговорил в сторону. "Всегда к вашим услугам", – скороговоркой сказал он Отцу и отзвонился.

Известно также, что Колхаус Уокер консультировался и с черным адвокатом в Гарлеме. Последний разузнал, что брандмейстер Уилл Конклин является сводным братом городского судьи и племянником старейшины в совете округа. "Можно, конечно, попробовать перетащить дело в другие инстанции, — сказал гарлемский щелкопер, — но это масса денег, масса времени. У вас есть на это деньжата?" — "Я скоро женюсь", — сказал Колхаус Уокер. "Тоже дорогое дельце, — сказал сутяга. — Занялись бы вы лучше своей жизнью, чем качать права с белыми". Последовала не вполне любезная ремарка со стороны Колхауса Уокера. Чернокожий законник грозно поднялся и показал ему на дверь. "Я занимаюсь делами бедняков, — кричал щелкопер, — я служу своему народу, как могу, но если вы думаете, что я отправлюсь в округ Вустер защищать цветного, которому плеснули в автомобиль ведро помоев, вы очень сильно ошибаетесь".

Известно также, что Колхаус пытался и сам, без посторонней помощи, обратиться в суд. Он составил жалобу, но так как ему неизвестен был календарь суда, форма заявления и процедура оформления, отправился за консультацией в Сити-Холл. Ему предложили зайти в другой раз, "когда будет посвободнее". Он настаивал. Тогда ему сказали, что его дело здесь не зарегистрировано и понадобится несколько недель, чтобы навести справки. В общем, вы заходите, заходите, приговаривал клерк. Колхаус направил тогда стопы в полицейский участок, где все это было изначально зарегистрировано, и там написал вторую жалобу. Полицейские чины приняли его с изумлением. Старшой отвел его в сторону и доверительно сообщил, что все эти жалобы тщетны, так как добровольные пожарные дружины не находятся под юрисдикцией города. Презренная логика. Колхаус молча подписал жалобу и покинул участок. Он слышал за спиной смех полицейских.

Все это происходило в течение двух или трех недель. Позднее, когда имя Колхауса Уокера стало символизировать убийство и поджог, никому и в голову не пришло вспомнить об этих попытках. Конечно, нельзя оправдать насилие, однако нужно всегда восстанавливать истину. За семейным столом теперь все как одержимые только и говорили о странном черном гордеце, о его борьбе за свою собственность. Конечно, произошли глупейшие вещи, но... но в чем-то здесь была и его вина, его ошибка. Конечно же, умалчивалось, но подразумевалось, что его вина была в том, что он – негр и такое могло случиться только с негром. Монументальный негритюд Колхауса Уокера как бы маячил перед ними постоянно в центре стола. Пока Сара подавала к столу, Отец сказал ей, что ее жених лучше бы сделал, если бы забрал свою машину и забыл это дело. Младший Брат ощетинился. "Ты говоришь как человек, который не способен постоять за свои принципы", – крикнул он. Отец был взбешен этим выкриком так, что и слов не находил. Мать мягко урезонивала спорящих, говоря, что никому никакого проку не будет от таких несдержанных чувств. Странный, не по сезону теплый бриз поднимал гардины в египетской столовой. Начало весны, угрожающее дыхание неопределенности. Сара уронила блюдо с филе трески. Убежала на кухню и схватила своего ребенка. Рыдая, она поведала МБМ, который последовал за ней, что в предшествующее воскресенье Колхаус отложил свадьбу до тех пор, пока он не получит свою "модель-Т" в той же самой кондиции, в какой она была до того, как пожарные клячи преградили ему путь.

Никто не знал Сариной фамилии, да никто и не спрашивал. Где она родилась и где она жила, эта нищая неграмотная черная девчонка, это живое обвинение человечеству? За несколько недель своего счастья, когда она приняла предложение Колхауса, и до новых ужасов она совершенно преобразилась. Скорбь и гнев, казалось, были лишь физической патологией, маскировавшей ее подлинный лик. Мать восхищалась ее красотой. Она смеялась и говорила сладкозвучным голосом. Женщины вместе работали над подвенечным платьем. Движения Сары стали гибкими и грациозными. У нее была удивительная фигура, и она взирала на себя не без гордости. Радость бытия переполняла ее. Счастье заливало груди высококачественным млеком, и бэби стал очень быстро расти. Он уже, подтягиваясь, поднимался в своей колясочке – она становилась небезопасной. Он переехал к ней в комнату. Сара поднимала его и танцевала, кружилась, пела. Ей было, должно быть, не более девятнадцати, и жизнь давала ей сейчас все поводы, чтобы жить. Мать подумала как-то, что это существо не понимает ничего, кроме добра. Она была совершенно бесхитростна и до полной беспомощности подчинена своим чувствам. Если она любила, то жила в любви, любое предательство полностью ее разрушало. Сияющая и опасная филигрань невинности. Малыш все больше и больше привязывался к Саре и ее бэби. Он очень нежно играл с ребенком, и между ними существовало торжественное взаимопонимание. Сара бесконечно примеряла подвенечное платье. Когда она снимала его через голову, белье поднималось на ее бедрах и она с улыбкой замечала неприкрытое внимание Малыша к ее членам. С Младшим Братом у них была невысказанная близость людей одного поколения. Ее будущий муж был значительно старше, а МБМ, в свою очередь, по возрасту был чужаком в семье. Быть может, именно поэтому он и последовал за ней на кухню, где она поведала ему о клятве Колхауса не жениться, пока он не получит назад свой "форд".

"Что он намерен делать?" — спросил Младший Брат. "Я не знаю", ответила Сара. Возможно, она улавливала уже запах насилия.

В следующее воскресенье Колхаус не явился. Сара снова закрылась в своей комнате. Для Отца стало ясно, что обстановка ухудшается. Он сказал: "Это же нелепо, чтобы какой-то мотокар отнимал у людей жизнь". Он решил на следующий же день отправиться в "Эмеральдовский движок", непосредственно к шефу Конклину. "Что ты будешь делать?" — спросила Мать. "Я дам им понять, что они имеют дело с полноправным гражданином этого города, — сказал Отец. — Если это не сработает, я попросту дам им взятку. Пусть починят машину и доставят ее к моим дверям. Я подкуплю их". — "Вряд ли мистер Уокер будет рад", сказала Мать. "Тем не менее это как раз то, что я сделаю, — сказал Отец. — Об объяснениях мы позаботимся после. Эти подонки уважают только деньги".

Однако еще до того, как этот план был осуществлен, Сара решилась на свою собственную акцию. Случилось так, что шла весна выборного года и кандидат республиканцев в вице-президенты Джеймс Шерман прибыл в Нью-Рошелл, чтобы держать речь на ужине в отеле "Прилив". Сара же как раз подслушала, как Отец обсуждал сам с собой причины, по которым он не осчастливит вице-президента своим присутствием. Не очень сведущая в государственных делах, Сара решила обратиться к Соединенным Штатам от имени своего жениха. Это был второй в ее жизни отчаянный акт, спровоцированный ее наивностью. Вечером она дождалась, когда бэби крепко заснул, завернулась в шаль и, не сказав никому ни слова, выскользнула из дома и побежала вниз, к Северной авеню. Она была боса. Бежала быстро, как ребенок. На пути ей попался трамвай, в нем мелькали огоньки. Кондуктор сердито зазвонил, когда она бросилась наперерез. Она взяла билет и доехала до центра.

Начинался ветер, в темном небе громоздились огромные тяжелые тучи. Она стояла перед отелем в небольшой толпе, ожидавшей прибытия великого человека. Машина за машиной подходили, одна

почтенная персона следовала за другой. Ветер порцию за порцией швырял дождевые капли. Через панель к дверям отеля был раскатан ковер. Местная полиция в белых перчатках и взвод милиции охраняли вход и оттесняли толпу в ожидании прибытия вице-президентского автомобиля. После убийства президента Мак-Кинли на милицию и переодетую секретную службу была возложена обязанность охранять важнейших людей страны. Причины для этого были немалые. В этом году Теодор Рузвельт вышел из отставки, чтобы бороться вновь против своего старого друга Тафта. Кандидатом от демократов был Вильсон, от социалистов Дебс. Четыре выборных кампании прохлестывали взад-вперед через всю страну, вздувая в толпах надежды и уподобляясь ветрам, что ерошат великие прерии. Как раз за неделю до этого вечера Рузвельт прибыл в Милуоки, чтобы держать там речь. Пока он шел от станции к автомобилю, его все время окружала восторженная толпа. Вдруг выступил человек и стал стрелять в упор. Пуля пробила чехол для очков и пятьдесят страниц подготовленной речи, после чего застряла в ребре. Ошеломление. Убийцу свалили наземь. Вопли. Рузвельт осмотрел рану и с удовольствием нашел ее несерьезной. Он прочел свою речь, прежде чем позволил приблизиться докторам. Это было восхитительно, но едкий дым покушения осел в общественном сознании. Естественно, любой ответственный за охрану важных персон не мог не думать о выстрелах в Тедди Рузвельта. Не так давно и мэр Нью-Йорка Уильям Джей Гейнор был окровавлен пулями убийцы. Оружие шло в ход повсюду.

Когда вице-президентский "пэнард" подкатил к краю тротуара, в небо взмыли приветствия. У "Солнечного" Джима Шермана насчитывалось немало друзей в Вустере. Это был круглый лысеющий человек в таком паршивом состоянии здоровья, что вряд ли он вытянул бы до конца кампании. Сара пробилась через толпу, взывая в своем неведении: "Президент! Президент!" Черная ее рука тянулась к нему. Он отпрянул. Быть может, во мраке надвигавшейся бури черная Сарина рука показалась кому-то из охраны оружием, во всяком случае милиционер выступил вперед и прикладом своего "спрингфилда" ударил ее в грудь со всей силой, на какую был способен. Она упала. Агент секретной службы прыгнул на нее. Вице-президент исчез в дверях отеля. Среди последующего замешательства, криков и беготни Сару втащили в полицейский фургон и увезли.

В полицейском участке Сару держали всю ночь. Она харкала кровью, и к утру дежурному сержанту пришло в голову послать за доктором. Она озадачила всех, не отвечая ни на один вопрос, глядя на них глазами, полными страха и боли, и если бы один из них не вспомнил, что она кричала: "Президент! Президент!" – они бы сочли ее глухонемой. "Что ты там делала? Что ты думала сделать?" Утром ее перевезли в больницу. Стоял пасмурный день, вице-президент как был, так и сплыл, празднество испарилось, подметальщики толкали свои щетки перед отелем, а обвинения против Сары снизились от "попытки убийства" к "нарушению спокойствия". Ее грудина и несколько ребер были переломаны. Дома, на авеню Кругозора, Мать слышала, как бэби все плачет и плачет, и наконец решила подняться и узнать, в чем дело. Несколько часов прошло, прежде чем полицейский офицер как-то связал тревогу, поднятую семейством, с той цветной девчонкой в госпитале. Отец ушел с работы, и вместе с Матерью они приехали в больницу. Они нашли Сару в общей палате. Она спала, лоб ее был сух и горяч, кровавый пузырек в углу рта вздувался и опадал при каждом дыхании. К следующему дню у Сары развилась пневмония. Из ее отрывистых слов им удалось восстановить всю историю. Она обращала на них мало внимания и все звала Колхауса. Они перевели ее в отдельную палату и начали звонить в "Манхэттен-казино" антрепренеру "Клеф-Клаб-оркестра". Таким путем был обнаружен наконец Колхаус, и через несколько часов он уже сидел у Сариной постели.

Мать и Отец ждали за дверью. Когда они заглянули внутрь, Колхаус стоял на коленях возле кровати. Голова его была склонена, двумя руками он держал Сарину бедную лапку. Они отступили. Потом они услышали какие-то замогильные звуки — скорбь взрослого мужчины. Мать ушла домой. Теперь она не спускала с рук бэби. В семье царило опустошение. Некая утечка тепла. Все носили свитеры. Младший Брат

топил печь. К концу недели Сара умерла.

Похороны были устроены в Гарлеме. Щедрые похороны. Бронзовый гроб. Катафалк "пирс-эрроуопера" с удлиненной пассажирской кабиной и открытым сиденьем для шофера. Весь его верх был покрыт цветами. Черные ленты развевались со всех четырех углов. Машина была настолько отполирована, что Малыш мог видеть в ее задних дверцах отражение всей улицы. Все было черным, включая небо. Улица загибалась к пропасти горизонта. Несколько других автомобилей везли на кладбище скорбящих. В основном это были музыканты, друзья Колхауса, чернокожие господа в туго застегнутых темных костюмах, круглых воротничках и черных галстуках. Их женщины были в платьях, подметавших туфли, в широкополых шляпах, с маленькими мехами на плечах. Когда все расселись по машинам и шоферы взялись за рули, послышались фанфары и к процессии присоединился открытый омнибус с оркестром из пяти музыкантов в смокингах. Колхаус Уокер заплатил за похороны свадебными деньгами. Место для Сариной могилы он обеспечил благодаря своему членству в Благотворительной ассоциации негритянских музыкантов. Кладбище находилось в Бруклине. Оркестр играл погребальные мелодии и на тихих улицах Гарлема, и на всем движении через центр. Кортеж двигался медленно. Дети бежали рядом, а взрослые останавливались. Оркестр играл и на Бруклинском мосту высоко над Ист-ривер. Пассажиры трамваев вставали со своих мест, чтобы посмотреть на скорбный парад. Солнце сияло. Чайки вспархивали с воды. Они кружили между стальными тросами моста и усаживались на рельсы, когда проходил последний автомобиль.

Весна! Весна! Подобно безумному фокуснику, швыряющему шелка и цветные тряпки из сундука, земля являла на свет желтые и белые крокусы, лисий виноград и форзицию, лезвия ириса, розовый и белый цвет яблонь, тяжелую сирень и бледно-желтый нарцисс. Дедушка, стоя во дворе, бурно аплодировал чудесам природы. Порыв бриза сорвал с кленов настоящий ливень нежно-зеленых почечексперматозоидов. Они покрыли его редкие седые волосы. В восторге он тряс головой, ощущая на ней дарованный свыше венчик. Спазма радости, скачок, скачок, этакий танец, стариковская джига. Он поскользнулся, потерял равновесие и оказался в сидячей позиции. Именно таким манером он сломал себе таз и вступил в период окончательного уже заката. Однако та весна была настолько радостной, что, даже и мучаясь от боли, он улыбался. Повсюду били жизненные соки и птицы пели. На ферме Мэттиуан при тюрьме штата наш старый знакомый Гарри Кэй Фсоу ловко перепрыгнул через канаву, вскочил на подножку ожидавшего его локомобиля и испустил ликующий крик Локомобиль тронулся. Фсоу бежал в Канаду и там путешествовал, оставляя за собой хвост разъяренных официанток и ошарашенных отельциков. Он похитил и выпорол мальчика – следовательно, приступил уже к решению своей основной проблемы. В конце концов он пересек границу в обратном направлении. Его обнаружили в поезде возле Буффало, но он отдался не сразу. Он долго убегал, хихикая и пыхтя, от преследовавших его детективов. В вагоне-ресторане он хватал со столов тяжелые серебряные кофейники и на глазах изумленной публики бросал их в полицейских. Затем он вскарабкался между вагонами на крышу, и дальнейший его бег напоминал уже прыжки огромной обезьяны. Наконец он свалился на обзорную платформу в хвосте, простер руки к солнцу и так стоял, пока полиция его не схватила.

Фсоу не разгласил имя человека, устроившего ему побег. "Зовите меня просто Гудини", — сказал он. Предприимчивый репортер решил найти великого фокусника и испросить у него комментарий. Репортер был дока по части глупых и мелких новостишек, до которых тогда столь падки были газеты. Он нашел Гудини на кладбище в Квинсе, где тот озирал весеннее цветение, стоя на коленях возле могилы матери. Увидев его распухшее от слез, дико смешное от горя лицо, репортер слинял. Вокруг могилы буйно цвел кизил, а под деревьями лежали опавшие лепестки магнолий.

Гудини был в черном шерстяном костюме, рукав пиджака разорван по шву. Его мать умерла несколько месяцев назад, но каждое утро он просыпался с такой свежей болью, будто это случилось вчера. Он отменил концерты. Брился только тогда, когда вспоминал об этой процедуре, что случалось нечасто; с красными глазами, потерянный, в изжеванном и порванном костюме, он выглядел кем угодно, но только не энергичным фокусником с международной славой.

По еврейскому обычаю в знак совершенного визита на могиле оставляют камешки. Холмик миссис Цецилии Вайс был покрыт галькой и камешками настолько, что стало образовываться подобие пирамиды. Гудини думал о том, как она лежит в гробу под землей, и горько рыдал. Он хотел лежать рядом с ней, а ведь он помнил свою попытку сбежать из гроба и ужас, охвативший его, когда он понял, что это невозможно. У гроба тогда была трюковая крышка, но он не рассчитал веса земли. Он царапал тогда землю, а она сдавливала его своей монументальной тяжестью. Он закричал в непроницаемой тишине. Да, он знал, что такое лежать в земле, и все же он полагал теперь, что это единственное для него место. Что хорошего ждать от жизни без его любимой маленькой мамочки?

Он ненавидел весну. Воздух в ноздрях казался ему запекшейся грязью. В своем кирпичном доме на 115-й улице возле Риверсайд-драйв Гудини повсюду расположил обрамленные фотографии матери, чтобы возникла иллюзия ее присутствия. Один крупный план он положил на подушку ее постели. Увеличенное фото матушки, сидящей в кресле и улыбающейся, он поставил в то самое кресло, где она позировала. Был

также снимок старушки, поднимающейся по крыльцу к дверям. Его он повесил на внутренней стороне двери. Среди ее пожитков остался дубовый музыкальный ящик с окошечком на крышке, заглянув в которое можно было увидеть ротацию диска. Ее любимая пластинка с одной стороны исполняла "Гаудеамус Игитур", а с другой "Колумбия — жемчужина океана". Гудини накручивал пружину и играл эти мелодии каждый вечер. Он грезил, что это был ее голос. Он сохранил все письма, которые она написала ему за долгие годы, теперь он перевел их на английский и отдал перепечатать, чтобы можно было их легко читать и не бояться, что они обратятся в пыль из-за чрезмерного пользования. Он открывал дверцы шкафа и вдыхал благоухание ее гардероба.

Старушка заболела, пока Гудини был в Европе. Он как раз собирался описать ей свою встречу с наследником австро-венгерского престола эрцгерцогом Францем-Фердинандом, но тут она как раз и умерла от удара. Он тотчас же освободился от контрактов и поплыл домой. Ни одной детали этого путешествия не осталось в его памяти. Он потерял рассудок от горя. Похороны были отложены до его возвращения. Он узнал, что она звала его за несколько моментов до смерти. "Эрих, — стонала она, — Эрих, Эрих". Чувство вины измучило его. Он был одержим идеей, что она хотела ему что-то сказать, что у нее было нечто, что она должна была открыть ему за несколько мгновений до смерти.

Он всегда был скептиком по отношению к оккультистам, ясновидящим и медиумам. В начале своей карьеры в цирке братьев Уелш в Пенсильвании он и сам эксплуатировал доверчивость деревенщины, втирал им очки своей трансцендентальной властью. С завязанными глазами он говорил сообщнику, какой предмет был указан публикой для идентификации. Что это такое, мистер Гудини, спрашивал соучастник обмана и получал правильный ответ. Все это делалось при помощи кода. Иногда он вызывался поговорить с мертвыми и выдавал какому-нибудь бедному сосунку, чьи обстоятельства заранее выяснялись, отличное послание из загробного царства. Так что он мог легко распознать спиритический обман. Спиритическое надувательство неистово разрослось по Соединенным Штатам с 1848 года, когда две сестрички Маргарет и Кейт Фокс пригласили соседей на таинственные стуки в их доме в Хайдсвилле Нью-йоркском. Однако именно цирковой опыт побудил Гудини искать человека с истинным даром медиума. Он может распознать и разоблачить любую фальшивку. Поэтому если он найдет настоящее, он это сразу распознает. Будьте уверены, если существует возможность сообщаться с мертвыми, он ее найдет. Он хотел видеть маленькую фигурку своей мамочки Цецилии и чувствовать ее пальцы на своем лице. Но так как это было невозможно, он решил хотя бы услышать ее голос.

В этот момент нашей истории коммуникация с мертвыми была не столь уж противоестественной идеей, как в былые времена. Америка стояла на заре Двадцатого Века, нация паровых экскаваторов, локомотивов, воздушных кораблей, двигателей внутреннего сгорания, телефонов и двадцатипятиэтажных зданий. Наряду с этим существовала любопытная восприимчивость самых знаменитых прагматистов к оккультным идеям. Конечно, все это делалось по-тихому. В определенных кругах ходили слухи о тайном обществе Пирпонта Моргана и Генри Форда. Волшебник-селекционер Лютер Бербанк, который скрещивал растения и получал высокоурожайные гибриды, тайно разговаривал с растениями и был уверен, что они его понимают. Даже великий Эдисон, человек, который изобрел Двадцатый Век, утверждал существование неделимых частиц живой материи – он назвал их "стайками", – которые остаются после смерти и никогда не разрушаются. Гудини пытался связаться с Эдисоном. Великан, однако, был слишком занят. Он разрабатывал новое изобретение, невероятно секретное, о котором ходили непрерывные толки в прессе. Одна из газет утверждала, что это будет некая вакуумная трубка, при помощи которой можно будет получать послания от мертвых. Гудини отчаянно посылал великану телеграмму за телеграммой, прося о встрече. Его отвергли. Он предлагал деньги на исследования. Его отвергли. Он поклялся, что сам изобретет нужный инструмент – ведь научился же он летать на аэроплане. Все, что Эдисон начинал, все было в пределах современной техники, и, значит, все было доступно каждому. Гудини купил книги и начал изучать

механику и принципы действия аккумуляторной батареи. Он поклялся, еще раз поклялся, он клялся без конца вместе с автором этой книги. Страстность его привлекла внимание людей, которые шли нога в ногу с этими штуками. Он встретился с одним таким из Буффало, который утверждал, что работал когда-то вместе с гениальным карликом Штайнмецем. Физики во всем мире сейчас открывают волны, сказал этот человек. Потрясающе важная теория возникла за границей: материя и энергия суть два аспекта одной и той же первичной силы. "Между прочим, я стоял у истоков этой теории, — сказал этот человек, обладавший университетским дипломом из Трансильвании. — Нужно только изобрести очень чувствительный инструмент, вот и все". Рудини подписал с ним соглашение и выдал пару тысчонок на исследования. Другого человека, химика, он устроил с его склянками прямо в собственном доме. Со всех сторон к нему шли письма от медиумов: кто просил брошку покойной мамаши, кто — прядь волос. Он подрядил целое детективное агентство выследить всех этих медиумов, чтобы отсечь шарлатанов. Проинструктировал агентуру, как различать обман — все эти трубы и трюковые снимки, спрятанные за шторами звуковые валики, системы столоверчения. Почему они затемняют комнаты, а? Потому что хотят что-нибудь спрятать, понимаете?

Активность Гудини дала свои результаты. Он скопил теперь столько энергии, что мог снова прекрасно работать. "Я очень окреп, — сказал он своему антрепренеру, — я так окреп, как вы даже и не представляете". Начались концерты. Те, кто видел Гудини в ту пору, говорили, что он превзошел самого себя. Он привел на сцену каменщиков, которые построили пятифутовую кирпичную стену, и он через нее прошел насквозь. Слон в натуральную величину исчезал от одного хлопка его ладоней. Пальцы его источали монеты. Из ушей вылетали голуби. Залезает в упаковочный ящик. Ящик затягивают и обматывают веревкой. Никакой драпировки, никакого понта. Ящик открывается. Пуст. Гудини бежит по проходу между кресел, прыгает ни сцену. Глаза сверкают синими диамантами. Медленно отрывается от пола. Висит в шести дюймах над полом. Женщины в истерике. Внезапно валится на пол беспомощной кучей. Крики, свист, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают. Его сажают на стул. Просит вина. Держит в руке стакан. Вино обесцвечивается. Пьет. Стакан исчезает из руки.

Действительно, его представления сделались такими напряженными и странными, они так будоражили аудиторию, что матери старались поскорее увести детей из театра. Гудини этого не замечал. Он работал теперь за пределами своих физических возможностей и вместо трех объявленных трюков производил восемь или даже дюжину. Он всегда считался "презирающим смерть", но теперь репортеры нью-йоркских ежедневных газет следовали за ним по пятам из театра в театр в надежде, что он превзойдет сегодня все ожидания. Конечно, он делал и свой знаменитый трюк с молочным бидоном. Сорокаквартовый бидон наполняли водой. Или убегай, или помирай. Он ложился в стеклянный гроб, в котором не могла гореть и обыкновенная свеча, он лежал в нем чуть ли не шесть минут после того, как пламя свечи увядало. Крики, вопли. Женщины закрывали глаза и затыкали уши. Ассистентов просили остановить номер. Он выходил из гроба дрожащий, обливаясь потом. Каждый подвиг Гудини будто бы иллюстрировал его тоску по покойной матери. Он как бы умирал и возрождался, умирал и возрождался. Однажды на представлении в Нью-Рошелл его желание смерти стало столь очевидным, что люди подняли визг, а местный священнослужитель встал и закричал: "Гудини, вы экспериментируете с нечистой силой". Быть может, и в самом деле он не отделял теперь свою жизнь от своих трюков. Он стоял в своей длинной подпоясанной робе, пот блестел на коже, волосы закрутились в спиральки, просто-напросто существо из иной вселенной. "Леди и джентльмены, – проговорил он изнуренным голосом, прошу вас, простите меня". Он хотел объяснить собравшимся, что его мастерство основано на древнем восточном режиме дыхания, позволяющем поддерживать жизнь в почти безжизненных ситуациях. Он хотел объяснить, что его подвиги выглядят намного более опасными, чем они есть на самом деле. Он поднял руки, взывая к тишине. В этот момент прозвучал взрыв такой силы, что театр затрясся на своем фундаменте и глыбы алебастра рухнули

вниз с арки просцениума. Потрясенная аудитория в ужасе ринулась из театра, уверенная, что это его новый сатанинский трюк.

В действительности взрыв произошел за две мили, на западной окраине города. Взорвался "Эмеральдовский движок" — горящие его бревна подожгли поле через дорогу и озарили небо над Вустером. Пожарные команды ринулись сюда со всего города и из соседних коммун, но ничего уже нельзя было сделать. К счастью для города, дощатое здание станции находилось за четверть мили от ближайшего строения. Два волонтера были сразу доставлены в больницу, один из них с такими свирепыми ожогами, что вряд ли дотянул бы до конца дня. К моменту взрыва на станции было не менее пяти пожарников. Это был обычный для них час игры в покер.

К рассвету поле боя было выжжено, а здание превратилось в кучу обугленных бревен. Полиция оцепила всю зону, и детективы начали рыскать среди руин, разыскивая тела и пытаясь установить причину несчастья. Вскоре стало очевидным, что здесь были совершены предумышленные убийства. Из четырех тел, обнаруженных под развалинами, на двух были следы картечи, причинившей смерть. Лошади, впряженные в помпу, лежали там, где и повалились, на полпути из депо к дороге. Сигнальная машина, найденная под развалинами, показывала, что сигнал тревоги был получен из ящика на северной окраине города. Никаких признаков пожара между тем в городе той ночью не было. Из этих и других явлений, из отрывочных свидетельских показаний, а также из заключения доктора судебной медицины, прибывшего из Нью-Йорка, была восстановлена следующая картина событий. Приблизительно в 10.30, когда шестеро пожарников играли в карты, прозвенел сигнал тревоги. Картежники бухнулись в свои сапоги и напялили шлемы. Лошади были выведены из стойла и прицеплены к паровому движку. Упряжка там была сделана на специальных защелках, разработанных для пожарных команд компанией "Зетцер" из Хикори, Северная Каролина. Подобно всем пожарникам в мире "Эмеральдовский движок" гордился своей оперативностью. Под котлом у них всегда поддерживался малый огонь, так что можно было поднять давление пара до нужной цифры уже по пути к месту бедствия. Ни одна минута не пропала даром, и вот уже кучер, понукая лошадей, выводит упряжку на улицу. Кто-то стоял в темноте прямо у них на пути. Он или они были вооружены дробовиками, огонь был открыт прямой наводкой. Две лошади повалились тут же, третья прянула назад, раненная в шею, кровь из ее ран оросила улицу, как порядочный дождь. Кучер был застрелен на месте. Из трех пожарников на экипаже двое получили смертельные раны, а третий был задавлен опрокинувшимся котлом. Котел упал с чудовищным лязгом, усугубившим панику по соседству, вызванную громом ружей. Топка развалилась и рассыпалась, а горящие угли тут же воспламенили дощатое строение. Затем взорвался бойлер, и огненные бревна полетели через дорогу в поле. В этот-то момент артист Гудини как раз и потерял контакт со своей аудиторией.

Когда это случилось, наше семейство уже отошло ко сну. Впрочем, спали они плохо. Коричневый бэби плакал и звал маму, отвергал молоко от няньки. Отец услышал далекий взрыв и, выглянув из окна, увидел озаренное небо. Первой мыслью, конечно, было, что взорвались собственные фейерверки, однако это оказалось совсем другое направление. Еще до наступления утра он узнал, что сгорело. По всему городу только и говорили о пожаре. В обеденный перерыв Отец пошел туда. Толпы стояли за полицейскими барьерами. Он обогнул ограждение и спустился с холма к пруду, где остов "форда-Т" то появлялся, то исчезал под водой, которую все не оставлял в покое сильный восточный бриз. Несмотря на то что был только полдень, Отец отправился домой. Мать даже не глянула на него. Она сидела, держа на коленях бэби, в какой-то отрешенной задумчивости, будто бы бессознательно подражая покойной Саре. Отец подумал в этот момент, смогут ли они дальше распоряжаться своей жизнью.

К четырем часам пополудни мальчишка-почтарь швырнул на крыльцо трубку вечерней газеты. Убийца-поджигатель как будто был негр. Единственный выживший волонтер сказал об этом пришедшей в больницу полиции. Он был недвижим, когда приблизился негр и сорвал с него горящие тряпки. Однако это не было актом милосердия. Подняв за волосы голову пожарника, негр спросил, где прячется брандмейстер. Шеф Конклин оказался большим везунком, его не было на станции в тот вечер, однако было совершенно непонятно, откуда негр знал о Конклине и что он имел против него.

Профессионалы единодушно сходились на том, что это было групповое дело, — иначе кто же дал фальшивый сигнал тревоги? Газета тем не менее описывала несчастье как дело рук одинокого маньяка. Она советовала гражданам держать двери на запоре, усилить бдительность, но сохранять спокойствие.

Семья сидела за обеденным столом. Мать держала бэби на руках. Она теперь даже и не представляла себе, что может его оставить. Крохотные пальчики цапали ее руки. Наверху стонал от боли Прародитель. Обед, можно сказать, не состоялся в связи с отсутствием желающих поесть. Отец поставил перед собой граненый графин с бренди. Рюмку за рюмкой — уже три. Что-то у него застряло в глотке от всех этих дел, то ли кость, то ли комок пыли, без бренди от этого не избавишься. Рядом с графином лежал старый пистолет, спутник по филиппинской кампании. "Для нас сейчас тут в чужом пиру похмелье, — сказал он жене. — Бога ради, что тебя обуяло в тот день? У округа столько возможностей для неимущих. Ты плохо подумала, когда взяла ее в дом. Ради своей бабьей сентиментальности ты пожертвовала нами всеми". Мать внимала. За долгое их знакомство она не могла припомнить, когда он был столь далек от нее. Она знала, что он будет потом извиняться, но слезы тем не менее наполняли ее глаза и, наполнив, потекли по лицу. Завитки волос выбились из прически, упали на уши и на шею. Она была красива сейчас, как когда-то в девичестве. Он чувствовал какое-то тайное наслаждение от того, что заставил ее плакать.

Младший Брат сидел, положив руку на ручку кресла и подперев голову. Указательный палец упирался в висок. Он смотрел на своего шурина. "Ты что, собираешься застрелить его?" – спросил он. "Я собираюсь защищать свой дом, сказал Отец. – Здесь его ребенок. Если он сделает ошибку и придет к моим дверям, я тут за него возьмусь". – "Да почему же он должен сюда прийти, проговорил МБМ бешеным голосом, – ведь это не мы осквернили его машину". Отец посмотрел на Мать. "Утром я пойду в полицию и расскажу им, как этот сумасшедший убийца был гостем в моем доме. Я расскажу им и то, что мы здесь держим его ублюдка". Младший Брат заговорил, дрожа: "Я думаю, что Колхаусу Уокеру Младшему будет приятно, если ты расскажешь полиции все, что ты знаешь. Ты можешь рассказать им, что он – тот самый негр-маньяк, чей автомобиль лежит на дне Пожарного пруда. Ты можешь рассказать им, что он тот самый парень, что был у них и подал жалобу на Уилла Конклина и его живодеров. Ты можешь рассказать, что это тот самый черный сумасшедший убийца, который недавно стоял на коленях у кровати умирающей от ран. Ты не забыл? Напомнить?" Отец сказал: "Надеюсь, я не совсем понял тебя. Надеюсь, ты не защищаешь эту дикость? Кто виноват в Сариной смерти, кроме него самого? Кроме его проклятой черномазой гордыни? Небо свидетель, чем можно оправдать убийство людей и разрушение собственности?" Младший Брат вскочил столь резко, что стул его упал. Бэби проснулся и заплакал. МБМ был бледен и дрожал. "Что-то я не слышал подобной выспренности на Сариных похоронах, – воскликнул он. – Я не слышал тогда, чтобы ты говорил, что смерть и разрушение собственности непростительны".

Между тем Колхаус Уокер уже сам сделал кое-что для опознания собственной персоны. Оказалось, что через час после взрыва он сам, или другой чернокожий, оставил нужные письма в редакциях двух местных газет. Посовещавшись с полицией, редакторы решили не печатать их. Письма были написаны твердой рукой, и говорили они о событиях, приведших к атаке на пожарную команду. "Я хочу, чтобы презренный брандмейстер предстал перед моим судом. Я хочу, чтобы мой автомобиль был возвращен мне в его изначальной кондиции. Если эти условия не будут удовлетворены, я буду убивать пожарных и поджигать станции без устали. Если понадобится, я разрушу весь город". Издатели газет и полицейские чины решили, что в интересах общественного благополучия лучше не публиковать этих писем: одно дело одинокий маньяк, бунт — это другое дело. Отряды полиции, не поднимая шума, прочесывали негритянские

кварталы и спрашивали о Колхаусе Уокере Мл. В соседних городах проводилась такая же операция. Отовсюду поступали одинаковые рапорты: это не из наших негров, это не наш.

Утром Отец на трамвае отправился в город. Он решительно прошагал по ступеням муниципалитета как известный и уважаемый член общины. Исследователь. Флаг, трепещущий на куполе здания, был, между прочим, его даром этому городу.

29

Родитель родился и вырос в Уайт-Плэйнс, штат Нью-Йорк. Он был единственным ребенком. В памяти остались пятна света и теплые дуновения летних дней в Саратога-Спрингс. Сады с дорожками отборного гравия. Он прогуливался со своей мамой мимо ярко выкрашенных больших отелей. Она была слабенькая женщина и умерла, когда ему было четырнадцать. Родитель посещал Гротон, а потом Гарвард. Штудировал немецкую философию. Зимой второго курса его занятиям пришел конец. Родитель Родителя, то есть Отец Отца, разбогател в Гражданскую войну, а затем усердно начал уничтожать свое состояние в далеко не блестящих по мудрости спекуляциях. Наконец состояние испарилось. Старик был из тех, кто не унывает в беде. Уверенность его росла с каждой потерей. В банкротстве он вообще казался сияющим триумфатором. Он умер внезапно, так и не потеряв своих совершенно необоснованных надежд. Его кипучесть, постоянный "завод" породили в одиноком сынке противоположные качества – осторожность, трезвость, усердие и хроническую меланхолию. Вступив в наследство, он вложил оставшуюся кучку долларов в маленькое производство фейерверков, принадлежавшее одному итальянцу. В конечном счете он завладел этим бизнесом, расширил продажу, купил фирму, производящую флаги, и зажил вполне комфортабельно. Он обеспечил себе даже армейские заказы во время филиппинской кампании. Он гордился своими успехами, но никогда, однако, не забывал, что учился в Гарварде. Он слушал лекции Уильяма Джеймса о принципах современной психологии. Страстью его стали исследования: он хотел избежать того, что великий Джеймс называл комплексом неполноценности перед самим собой.

Ныне каждое утро он просыпался с ощущением смертности своего существования. Он спрашивал себя, на чем была основана его мгновенная неприязнь к Колхаусу Уокеру — то ли на цвете его кожи, то ли на самом факте его ухаживания, сватовства, на той зыбкости всех стремлений этого человека, которая предполагает, что лучшее в жизни еще впереди. Отец замечал уже возрастные крапинки на тыльной стороне своей руки. Он ловил себя на том, что переспрашивает людей в беседе. Мочевой пузырь, казалось, постоянно жаждал опорожнения. Тело Матери не вызывало больше похоти, но лишь тихое признание. Он восхищался его формой и нежностью, но не воспламенялся больше. Он даже заметил, что она отяжелела в плечах. Когда после его возвращения из Арктики жизнь вошла в свою колею, они как-то незаметно соскользнули в нетребовательное компанейство, в котором он иногда чувствовал, что жизнь проходит мимо, а он остается лишь наблюдателем событий. Он находил безвкусицей ее хлопоты и суету в связи с замужеством черной девчонки. Теперь же, после Сариной смерти, он видел, что горе Матери направило всю ее заботу исключительно на цветного ребеночка.

Он не мог не признать, что испытал некое удовлетворение, отправляясь в полицию, хотя и понимал, что это не очень-то, не вполне достойное чувство. Быть может, компенсируясь, он представил Колхауса как мирного человека, сведенного с ума обстоятельствами жизни. Точно тот самый аргумент, который выдвигал дома Младший Брат. Отец подтвердил все факты, изложенные в письме Колхауса. Он был пианистом, сказал Отец в прошедшем времени. Он был всегда любезен и корректен. Полиция серьезно кивала. Им хотелось бы знать, ударит ли ниггер еще раз, вот главное. Отец высказался в том духе, что если уж Колхаус избрал этот путь, он будет идти им со всей решительностью и настойчивостью. Именно базируясь на показаниях Отца, полиция и начала организовывать оборону. По всем пожарным командам была расписана стража. Главные дороги были взяты под контроль. В штабе повесили карту, указывавшую размещение сил порядка. Полицейский департамент Нью-Йорка послал своих детективов в Гарлем.

Отец ждал критики со стороны полиции, однако ее не последовало. Они смотрели на него как на эксперта, знающего характер преступника. Они приветствовали каждый его приход и просили его участвовать в совещаниях. Зеленые стены полицейской штаб-квартиры — наверху светлые, ниже пояса темные; в каждом углу плевательница — культура. Отец согласился всегда быть под рукой, хотя это было самое деловое время года. Все товары, ракеты, искровики, римские свечи, хлопушки и бомбы нужно было доставить вовремя, к праздникам Четвертого июля. Он беспрерывно курсировал между своим офисом и полицией. К своему отвращению, он оказался в постоянной компании с шефом "Эмеральдовского движка" Уиллом Конклином. От брандмейстера всегда разило, как из помойной ямы, тяжкая участь дичи под прицелом превратила его цветущую ряшку в кусок вареной телятины. Однако он был довольно настырным. Лез ко всем с советами сногсшибательной мудрости: "Выкурить всех черномазых в округе — вот что надо сделать". Полиция вяло над ним подсмеивалась: "А вот взять да отдать тебя, Уилли, тому бычку-дурачку, а? По крайней мере, сразу станет тихо, а?" Конклин не понимал шуток: "Неужели мы не вместе, хлопцы? Да неужто вы такие жестокие, хлопцы?" — "Уилли, — сказал начальник, — нам пришлось ждать, пока сам черный не сказал нам, что кто-то из твоих пропойц заварил всю эту кашу, понял, тупая твоя башка, а ты еще тут задаешь вопросы".

Впрочем, характер и умственные способности брандмейстера вполне соответствовали этим местам. Круглые сутки через стеклянные двери шныряли тут разные сутяги, поручители, жулье, хулиганье, втаскивали за ворот алкашей, приводили воров в наручниках. Громкие голоса, мерзкая речь. Конклин торговал углем и льдом и жил с женой и несколькими ребятишками прямо над своей лавкой. До Отца дошло, что брандмейстер околачивается все время в полицейском участке, потому что здесь он чувствует себя в безопасности. Конечно, он никогда не признался бы в этом. Напротив, он хвастался собственными мерами предосторожности. Кроме двух постоянно дежуривших полицейских у него под рукой все время были оставшиеся в живых волонтеры из "Эмеральдовского движка". Конечно, с оружием. "Ниггер может с тем же успехом атаковать Уэст-Пойнт", — говорил он.

Отца унижало общение с этим типом. Конклин разговаривал с ним не так, как с полицейскими. Следил за дикцией, вообще интеллигентничал; дескать, мы с вами люди одного круга. "Это трагическая штука, капитан, — говорил он Отцу, — вот именно: тра-ги-чес-кая". Однажды он даже положил Отцу руку на плечо этакое братство по несчастью. Отец дернулся, как от тока.

Тем не менее он проводил все больше и больше времени в полиции. Ему было трудно находиться дома. В день похорон жертв нападения он отправился слушать речи. Полгорода вышло на похороны. Большой бронзовый крест покачивался над толпой. Уилли Конклин, однако, носа не высунул из участка. "Зачем мне это нужно? — говорил он. — Зачем это мне быть мишенью для винтовки?" Разговоры о его поведении пошли по городу. Затем сообщения о том, что убийства в "Эмеральдовском движке" явились результатом горечи и обиды, стали появляться в нью-йоркских еженедельниках, репортеры которых не слишком-то были озабочены интересами местной торговой палаты. "Уорлд" и "Сан" опубликовали текст письма Колхауса Уокера. Уилли Конклин повсеместно стал презираемой персоной. Его ненавидели как тупого виновника событий, приведших к гибели его собственных подчиненных. С другой стороны, находились элементы, которые презирали его как типа, который может только шугануть ниггера, но не может внушить ему страх божий.

Человек в котелке каждый день сидел теперь в автомобиле напротив дома на авеню Кругозора. Отцу об этом официально ничего не было сказано, но он сообщил Матери, что сам попросил об охране, понимая, что было бы не очень-то умно поделиться с ней соображениями о полицейской благодарности. Да-с, благодарность их за его активное и добровольное участие не поднялась выше установления слежки за ним самим. Любопытно, какие же подозрения он вызывал у них?

Точно через неделю после атаки на "Эмеральдовский движок" в шесть часов утра белый автомобиль медленно въехал в узкую мощенную булыжником улицу в Западной части города. В середине квартала помещалась Муниципальная пожарная станция No 2. Когда машина поравнялась со станцией, она остановилась. Двое заспанных полицейских, дежуривших у дверей, несказанно удивились, увидев, как из машины вылезли несколько нефов с дробовиками и винтовками. У одного из полицейских хватило ума хлопнуться на землю. Другой как стоял с открытым ртом, так и стоял, глядя, как налетчики вытягивались в линию, будто расстрельный взвод. Прозвучала команда, ударил залп. Неосторожный полицейский был убит на месте, вылетели все стекла из дверей пожарной станции. Один из негров подбежал и швырнул несколько пакетиков внутрь.

Человек, подавший команду к залпу, приблизился к уцелевшему полицейскому, лежавшему в полном ужасе на тротуаре. Он вложил ему в руку письмо и сказал спокойно: "Это должно быть напечатано в газете". Затем все негры стали садиться в машину. Как только она отъехала, прогремели один за другим три взрыва, выбив все двери пожарной станции и превратив ее в ад кромешный. Пламя немедленно поглотило соседний салун и кофейную лавку, хозяин которой обычно поджаривал свои смеси прямо на улице. Горящие мешки кофейных зерен создали плотную желтую завесу. Аромат жареного кофе господствовал в округе несколько недель. Четыре трупа были обнаружены в развалинах, все муниципальные пожарники. Престарелая женщина в комнатах напротив умерла, как полагали, от страха. Пожарная машина и машина "скорой помощи" были разрушены.

Теперь город был по-настоящему в панике. Детей не пускали в школы. Крики возмущения против администрации. Против Уилли Конклина. Делегация пожарных направилась к муниципалитету и потребовала, чтобы им выдали оружие и привели к присяге, как вспомогательную полицию. Перепуганный мэр послал телеграмму губернатору штата, взывая о помощи. Репортажи о второй атаке Колхауса появились на первых полосах всех газет округа. Из Нью-Йорка репортерская братия валила стадами. Козлом отпущения был, конечно, начальник полиции, допустивший повторение ужасного террористического акта. Начальник сделал заявление репортерам, собравшимся в его офисе. Убийца использует автомобили, сказал он. Атакует и исчезает неизвестно куда. Уже несколько лет Ассоциация шефов полиции штата Нью-Йорк призывает к регистрации автомобилей и автомобилистов. Если бы такой закон существовал сегодня, мы бы мигом могли выследить чудовище, господа читатели. Разговаривая, шеф полиции опустошал ящики своего стола и курил сигару. Он проводил репортеров на крыльцо. На следующий день билль о регистрации автомобилей был представлен на рассмотрение законодателям штата.

На отцовской фабрике работали два негра — один дворником, второй сборщиком ракетных трубок. Ни тот, ни другой не пришли на работу после второго бедствия. Негров теперь нигде не было видно. Они сидели по домам за закрытыми дверями. Ночью полиция задержала на улице нескольких белых граждан, мирно прогуливавшихся с пистолетами и винтовками. Губернатор не оставил в беде мэра. Из Нью-Йорка прибыли два подразделения милиции, тут же начавшие расставлять свои палатки на бейсбольном поле за школой. Дети сбежались поглазеть на них. Специальные выпуски местных газет опубликовали второе письмо Колхауса. Оно гласило: "Белый нарост на теле общества, известный под именем Уилли Конклин, должен быть передан на мой суд. "Форд, модель-Т" с заказным брезентовым верхом должен быть возвращен в его прежней кондиции. До выполнения этих требований будут действовать законы войны. ХКолхаус Уокер Мл., президент, Временное правительство Америки".Ъ

К этому времени все вокруг жаждали узнать, как выглядит Колхаус Уокер. Газеты соревновались яростно. Репортеры штурмовали офис "Клеф-Клаб-оркестра" в Гарлеме. Увы, там не было ни единого фото ужасного пианиста. Херстовская "Америкен" триумфально преподнесла читателям некий снимок, но это оказался портрет композитора Скотта Джаплина. Друзья Джаплина угрожали судом, композитор был в

последней стадии неизлечимой болезни и не мог сам за себя постоять. Были принесены извинения. Наконец, газета в Сент-Луисе вышла со снимком, который был перепечатан повсюду. Отец установил подлинность портрета. На снимке был изображен молодой Колхаус, сидящий за пианино во фраке и в белом галстуке. Его руки лежали на клавишах, он широко улыбался в объектив. Вокруг пианино скучковался весь бэнд — корнетист, тромбонист, банджист, скрипач и барабанщик, все в белых галстуках. Они позировали так, как будто они играют, на самом же деле, конечно, они не играли, а позировали. В газете вокруг головы Колхауса обвели кружок. Таким получилось это стандартное фото. Ирония, заключавшаяся в этом снимке улыбающегося негра с аккуратными усиками — и все вокруг такие приветливые и прямодушные, — была, конечно, слишком соблазнительна для газетчиков, чтобы удержаться от заголовков типа: "Улыбка убийцы", "Президент Временного правительства Америки в более счастливые дни".

При таком интенсивном расследовании трудно, конечно, было утаить роль семьи в этом деле. Репортеры — сначала по одному, по два, а потом целыми группами — стучались в дверь и, получив от ворот поворот, оседали лагерем под норвежскими кленами. Они хотели увидеть бэби, узнать что-нибудь, хоть что-нибудь, что угодно о Колхаусе и о его визитах к Саре. Они заглядывали в окна и даже осторожно пробовали замок на кухонной двери. Соломенные канотье, блокноты в карманах, они жевали табак и плевали вокруг, подошвами давили окурки в траве. Снимки дома появились в нью-йоркских газетах. Путаные сообщения о путешествиях Родителя. Жалюзи были наглухо закрыты, и Малышу не разрешалось выходить. В спертом воздухе по ночам стенал Прародитель.

Мать выдержала бы все это, если бы дебаты не начались вокруг бэби. Постоянный парад автомобилей медленно двигался мимо их дома, зеваки сворачивали шеи, стремясь поймать хоть какойнибудь промельк в окнах. Чиновник из Совета по призрению детей высказал мнение, что незаконнорожденный и еще некрещеный ребенок должен быть сдан в один из великолепных детских приютов для сирот и подкидышей, которыми располагает штат Нью-Йорк. Мать держала бэби в своей комнате, не брала его больше вниз, а Малыша обязала присматривать за ним во время ее кратких отлучек. Она уже забыла, когда делала прическу, и ходила с распущенными волосами круглый день. Немало горечи было теперь направлено в адрес Родителя. "Почему бы вам не открыть ваш заветный сундучок, – спросила как-то она, – почему бы вам не помочь мне по-настоящему?" Это было косвенное нападение на его финансовый консерватизм, никогда прежде она этого себе не позволяла, хотя и знала, что они живут гораздо скромнее, чем могли бы. Отец был ужален этим замечанием, однако вышел вон и нанял повариху, а потом и другую женщину для стирки и домашней работы, а потом и садовника, а вслед за этим и няню для ухода за Дедом. Осажденный дом суетился теперь, как и подобает военному лагерю. Малыша все время увещевали не путаться под ногами. Он смотрел, как мама его ходит по комнате, руки сжаты впереди, волосы висят, вид изможденный и даже подбородок, всегда склонный к закругленности, теперь потерял свою щедрость и заострился.

Было очевидно, что нынешний кризис выветрил все духовное, все высокое из их существования. Раньше Отец втайне предполагал, что на семью ниспослан какой-то особый свет. Сейчас он чувствовал, что это уходит. Сам себе он казался тупым и тяжелым, способным делать только то, на что его толкали обстоятельства. Колхаус правил тут. А ведь он обошел весь мир — Арктика, Африка, Филиппины... Быть может, мир сейчас все больше и больше сопротивляется его толкованию? Он сидел в своем кабинете. Он думал теперь о всех — даже о Деде — только с точки зрения своего полного крушения. Он всегда относился к Прародителю с высокомерной любезностью, с какою принято относиться к сенильным старцам, хотя Дед до сих пор еще не был таковым. От Младшего Брата он был отчужден полностью. Что касается жены, то он чувствовал, как решительно и бесповоротно падает в ее глазах.

Он обвинял себя и в пренебрежении к сыну. Он никогда не беседовал с Малышом и не предлагал ему

свою компанию. Ему казалось, что он всегда и непреложно присутствует в жизни мальчика как модель для подражания. Какая ограниченность, какая тупость, особенно у человека, который сам всю жизнь старался ничем не походить на своего отца. Он пошел искать Малыша и нашел его на полу в его комнате читающим в вечерней газете отчет о вчерашней победной игре нью-йоркских бейсболистов под мастерским руководством тренера Джона Джей Мак-Гроу. "Ты хотел бы посмотреть на игру?" — спросил он. Мальчик вздрогнул и поднял глаза. "Я как раз сейчас об этом думал", — ответил он. Отец пошел в комнату Матери. "Завтра, — объявил он, — мы с Малышом едем на бейсбол". Он сказал это с такой решимостью и уверенностью в своей правоте, что она прикусила язык и ничего не возразила, а хотелось ей сказать ему, что он идиот. Когда он вышел из комнаты, она подумала, как далеко все это отстоит от того, что принято называть любовью.

Когда на следующий день Отец и Малыш бодро вышли из дома и зашагали к железнодорожной станции, за ними, конечно, увязалась парочка репортеров. "Мы едем на матч "Гигантов", — сказал им Отец. — Это все, что я могу заявить". "Кто сегодня на подаче?" — спросил один из репортеров. "Руби Марквард, сказал Малыш. — Он трижды выигрывал последний раз".

Какой был бодрый солнечный денек! Все так спортивно, и большие белые облака бодренько мчались по сверкающему небу. Когда трамвай пересекал реку, за которой был уже стадион, они увидели возле отвесных деревянных трибун несколько огромнейших деревьев, на которых явно не хватало листьев, что было странно в это время года. Вместо листьев на ветвях деревьев гнездилась масса фигур в котелках — джентльмены, которые предпочли не платить за билет, но наблюдать игру с этой экзотической позиции. Отец почувствовал, как Малыша охватывает возбуждение. Он был невероятно рад, что они вырвались из Нью-Рошелл. На территории парка они увидели толпы, устремлявшиеся вниз по лестницам надземки, кебы, вываливавшие своих пассажиров, мальчишек, ястребками летавших повсюду и торговавших программками; мощная хриплая энергия заполняла пространство. Трубили автомобильные рожки. Вагоны надземки, проходя над головой, испещряли солнечную улицу пятнами тени. Отец купил дорогой пятидесятицентовый входной билет и отдельно приплатил за ложу; они вошли на стадион и заняли свои места сразу за первой базой в нижнем ряду, где им пришлось в течение двух подач закрывать глаза от солнца.

"Гиганты" были одеты в белую форму с черными полосами. Их менеджер Мак-Гроу носил толстенную черную вязаную куртку поверх своего бочоночка. Две буквы "Н. И." красовались на рукаве. Это был драчливый коротышка. Как у всех в команде – носки с широкими горизонтальными полосами, плоская кепочка с козырьком и пуговицей на макушке. Соперниками на этот раз были "Бостонские смельчаки", которые носили темно-синюю, застегнутую до шеи форму со стоячим воротничком. Свежий ветер вздымал пыль на площадке. Игра началась, и Отец тут же пожалел, что они выбрали эти места. Грязные проклятия игроков свободно долетали до ушей его сына. Принимающая команда выкрикивала непристойные насмешки подающему. Папаша Мак-Гроу, вождь своей команды, стоя у третьей базы, особенно усердствовал, будто спуская с цепи своры самых мерзких эпитетов в адрес соперников. Его скрипучий голосишко разносился по всему стадиону. Толпа в ее страстях вполне соответствовала спортсменам. Игра шла очко в очко, вела в счете то одна команда, то другая. Бегун, проскользнув во вторую базу, сбил с ног второго бейсмена "Гигантов". Последний вскочил вопя, закружил хромая, – нога его кровоточила профузно. Обе команды выскочили из своих убежищ, и игра была остановлена на несколько минут, пока все дрались и катались в грязи под неистовое одобрение трибун. На пару подач питчер "Гигантов" Марквард, казалось, потерял контроль над собой. Забыв о своих обязанностях, он все старался угодить мячом в глаз бостонскому бэйсмену. Удалось. Подбитый приятель вскочил, однако, с земли и ринулся к Маркварду, размахивая своей битой. Снова опустели "убежища", и снова игроки катались по полю, поднимая тучи пыли. Отец отвлекся к программке. На стороне "Гигантов" среди других сражались Меркл, Дойл, Мейерс, Снодграсс и Герцог. Бостонская команда похвалялась стоппером Кроликом Мэренвиллом, который, согнувшись и подметая опущенными руками траву, бродил вокруг своей позиции, напоминая скорее не спортсмена, а человекообразную обезьяну. Первый бейсмен там назывался Мясник Шмидт, у других тоже имена были не слаще: Кокриен, Морен, Гесс, Рудольф. Все это неизбежно вело к заключению, что профессиональный бейсбол находился в руках иммигрантов. Когда игра возобновилась, Отец стал вглядываться в каждого бейсмена – все это были явно дети заводов и пашен: грубые лица, оттопыренные, как ручки кувшина, уши, лапы как ветчина, щеки вздуты табачной жвачкой, все мыслительные способности

отданы игре. Игроки в поле носили еще какие-то огромные хлопающие перчатки, придававшие им что-то клоунское. Сухая пыль площадки была испещрена харкотиной. Горе борцам из Антиплевательной лиги! На стороне бостонцев был мальчик, подававший биты в "убежище". Мальчик этот на деле оказался карликом, он носил форму команды, соответственно уменьшенную. Своим сопрано он выкрикивал гадости с не меньшим усердием, чем другие. Он подставлял голову своим игрокам, и они перед тем, как взять биту, касались его макушки. Карлик был своеобразным талисманом "Смельчаков". У "Гигантов" карлика не было, но зато имелось другое престраннейшее существо, тощее, в обвисшей форме, со слабыми глазками, которые плохо держали фокус. Оно медленно двигалось в какой-то летаргической пантомиме, имитируя движения игроков и бросая воображаемый мяч. Оно выглядело как пожиратель дерьма. Иногда оно начинало размахивать руками в манере ветряной мельницы. Отец стал следить за ним больше, чем за игрой: определенно несчастное это создание было домашним животным "Гигантов", таким же, как карлик у их соперников. В скучные моменты игры, а таких было немало, толпа улюлюкала ему и аплодировала его ужимкам. Он и в программе был указан как талисман. Чарльз Виктор Фауст — талисман. Дурак, воображавший себя игроком, видимо, развлекал команду, и потому она ставила его в свою заявку.

Отец вспомнил бейсбол в Гарварде двадцать лет назад, когда игроки, обращаясь друг к другу, говорили "мистер", играли с азартом, но как спортсмены, и носили осмысленную униформу. Зрителями были студенты колледжей, и никогда их не набиралось больше сотни. Ностальгия встревожила его. Он всегда считал себя прогрессивным. Верил в превосходство республиканского строя. Полагал, что негры, под должным руководством конечно, могут нести любое бремя человеческой цивилизации. Он отвергал любую аристократию за исключением аристократии духа и личных усилий. Ему казалось, что потеря Отцом всего состояния дала ему определенное преимущество: критическое отношение к предрассудкам своего класса. Увы, воздух на этом игровом стадионе под открытым небом смердел, как сортир в салуне. Сигарный дым, пронизанный наклонными лучами солнца, казался какой-то дымящейся каверной в атмосфере. В этой каверне, в середине грязной вселенной, он сидел, зажатый со всех сторон десятитысячным хором, ревущим ему в уши хвалу и хулу. Безжизненный ветер толпы.

За сиденьями на открытой трибуне возвышался огромный демонстрационный щит, на котором отмечалось число аутов и подач, пробежек и ударов. По подмосткам двигался человек и подвешивал нужные цифры, показывавшие ход игры. Отец утонул в своем стуле. Он забавлялся иллюзией, что все происходящее вокруг вовсе не бейсбол, но обозначенная в цифрах проекция его собственных проблем, некий код его жизни, требующий расшифровки.

Он повернулся к сыну. "Ну, что тебе нравится в этой игре?" Малыш не отрывал взгляда от площадки. "Одно и то же повторяется раз за разом, сказал он. — Питчер бросает мяч, вроде старается одурачить бэттера, будто тот может отбить". — "Иногда бэттер отбивает", — сказал Отец. "Тогда питчер в дураках", — сказал Малыш. Как раз в этот момент бостонский забойщик Хаб Пердью бросил питч, а нью-йоркский бэттер Рыжий Мэррей отбил его. Мяч взмыл в воздух высокой узкой аркой, и на мгновение показалось, что он там застыл. С самого начала Отец понял, что мяч летит прямо на них. Малыш подпрыгнул и вытянул руки. Взрыв восторга за спиной. Мальчик стоял, подняв руки, обтянутый кожей сфероид покоился в его ладонях. В этот момент весь стадион смотрел на него. Потом подслеповатый дурак, воображавший себя игроком, приблизился к ограде и уставился на Малыша. Руки его беспрерывно почесывали тело под обвисшей фланелевой рубахой. Абсурдно маленькая шапчонка на головище макроцефала. Малыш протянул ему мяч, и он взял его с мягкой, почти нормальной улыбкой.

Любопытное примечание. В конце этого сезона, когда "Гиганты" уже выиграли вымпел и были в беззаботном настроении, они дали этому бедному малому Чарльзу Виктору Фаусту сделать настоящую подачу в настоящем матче. На какой-то момент реальность воспламенила его замедленные иллюзии. Вскоре после этого он прискучил игрокам, Мак-Гроу перестал считать его добрым талисманом, у него

конфисковали форму и отослали куда глаза глядят. Он был возвращен в приют умалишенных и там несколько месяцев спустя умер.

К концу матча Отца охватило страшное беспокойство. Он чувствовал, что сделал глупость, оставив жену одну. Однако, когда толпа понесла их к выходу, сын вдруг взял его за руку, и это вызвало в нем мощный подъем духа. На открытой площадке трамвая он обнял Малыша за плечи. Прибыв в Нью-Рошелл, они бодро прошагали от станции до дома, вошли с громкими "хелло, хелло", и впервые за долгое время Отец почувствовал себя в своей тарелке. Мать появилась из глубин дома. Волосы ее были уложены, сама она казалась ухоженной, веселой и опрятной. Она обняла его и сказала: "А мы вам кое-что сейчас покажем, ну-ка". Лицо ее сияло. Она отступила в сторону, и в холл, держась за юбку горничной, вошел Сарин ребеночек. Он топотал ножками, качался, хватаясь за юбку, выравнивался и с триумфом смотрел на Отца. Все хохотали. "Мы не можем удержать его, — сказала Мать. — Только и хочет топать".

Малыш присел на корточки и протянул руки, бэби тогда вырвал свою руку у горничной и шатко устремился к нему, все время наращивая скорость, теряя равновесие и, наконец, падая в счастливом захлебе прямо на грудь Малышу.

Что-то вроде прежней безоблачности пронесли они все через этот вечер, а ближе к полуночи в тишине спальни Мать и Отец стали обсуждать ситуацию. Конечно, у Колхауса были шансы какое-то время оставаться на свободе. В этом случае их ожидало нарастающее отчуждение. Уже и сейчас некоторые знакомые Матери, ее товарки по Лиге, реагировали на их неожиданную известность соответствующим образом. Ее ужасало, что движимые горечью и гневом люди начнут требовать передачи Сариного ребенка под протекцию мстительных властей. Отец не стал отклонять подобную возможность. Они оба в этот момент так чудесно владели собой, так ощущали друг друга, что им вовсе не было нужды разыгрывать фальшивый оптимизм. Отец сказал даже, что власти могут пойти и на то, чтобы использовать бэби как аргумент для того, чтобы принудить Колхауса сдаться. "Мы должны уехать отсюда, – сказал Отец, вот что нам надо сделать – уехать". – "Но как же мы уедем? – вздохнула Мать. – Мой отец – инвалид. Малыш ходит в школу, в доме полно прислуги, и мы несем за всех ответственность..." Указательным пальцем правой руки она загибала пальцы на левой, перечисляя все эти сложности. Отец ощущал, что она теперь доверчиво ждет его решения. Он сказал: "Предоставь все это мне". То, что он взял на себя всю ответственность, наполнило ее теплым чувством. Так или иначе они были друзьями долгой уже выдержки. Эту ночь они провели вместе. Она позволила ему заняться любовью и даже отвечала движениями рук и бедер, ласкаясь, ободряла его усилия, и он впервые за много месяцев почувствовал, что она оценила его крепкое мужество.

Ответом на все вопросы, казалось, был Атлантик-Сити. Отец обнаружил там чудесный отель "Волнолом", в котором были комнаты с видом на океан, а брали за это несколько меньше, чем можно было предположить. До побережья Южного Джерси можно было добраться за несколько часов по рельсам — не так близко, но и не так уж далеко, чтобы нельзя было вернуться в воскресенье вечером к любимому бизнесу. Перемена воздуха всем пойдет на пользу. Дедушкин доктор, который имплантировал в сломанное бедро металлический внутренний шплинт, советовал старику передвигаться на костылях или по крайней мере в кресле-каталке, ни в коем случае не залеживаться нет ничего вреднее для людей его возраста. Малышу придется прервать занятия на несколько недель раньше, но это не страшно, так как паренек чрезвычайно сведущ в своих науках. Дом будет поддерживаться на полном ходу оставшейся прислугой, поскольку Отцу так или иначе придется бывать в Нью-Рошелл. С собой на побережье Мать возьмет лишь экономку, флегматичную и совестливую негритянку, присутствие которой ко всему прочему будет еще и объяснять наличие коричневого бэби.

Итак, вооружившись планом действий, семейство готовилось к отъезду. В доме поддерживался

веселый дух, который временами достигал даже истерических вершин, по мере того как ситуация в городе становилась все более уродливой. Новый начальник полиции, отставной инспектор Нью-йоркского отдела по расследованию убийств, предложил свою собственную, вполне зловещую линию расследования. В первый же день он сообщил репортерам, что взрывчатка, которой подорвали Муниципальную пожарную станцию No 2, была очень изощренной смесью пороха и гремучей ртути, она была составлена определенно знатоком своего дела, но уж никак не пианистом рэгтайма. "Я спрашиваю, где этот негр берет автомобили. Я спрашиваю, где он берет деньги для того, чтобы вооружить свою банду, да еще и заплатить им хорошеньким чистоганом. Где он достает деньги? Где он отсиживается между своими дикими атаками на этот тихий город? Я знаю полдюжины красных, которых с удовольствием посадил бы к себе под замок. Пари, я бы получил тогда ответы на свои вопросы". Эти предположения о заговоре радикалов, распространяясь все шире и шире, накалили и без того уже подогретый городской люд. Нападения на негров, осмеливавшихся высунуться из своего квартала. Патрули милиции на улицах. Фальшивые пожарные тревоги по всему городу. С грохотом вываливались на тихие улицы пожарные движки, полицейский эскорт, обязательная свита репортеров в автомобилях. Репортеры были повсюду, они возбуждали в городской общине болезненное, разбухшее самоощущение. Воскресные службы в церквах никогда не собирали столько народа. Неотложная помощь городской больницы сообщала о росте числа несчастных случаев прямо на дому. Люди то и дело обжигались, калечились острыми предметами, цепляясь за коврики, валились с лестниц. Несколько мужичков, прочищавших старое оружие, получили серьезные ранения.

Тем временем газеты без устали убеждали власти поднять из пруда "модель-Т". Возможно, и даже скорее всего, они жаждали новых снимков. Наконец, к пруду привезли кран, и автомобиль явился на поверхность как чудовищный артефакт. Грязь бородищей текла с него, вода и слизь лились с крыши. Он был перенесен на берег и оставлен там для всеобщего обозрения.

В этом деле у властей, однако, случился прокол. "Форд" стоял на берегу как осязаемое доказательство обиды черного автомобилиста. Изуродованный и оскверненный, он оскорблял своим видом всякого, знающего толк в технике, любящего машины, а таких в Америке немало. Разобравшись в этом, мэр и Совет старейшин выпустили новую серию обвинений в адрес цветного маньяка, где говорилось, что любые переговоры, кроме решительного требования полной капитуляции, будут означать любезное приглашение каждому ренегату, радикалу и негру издеваться над законом и плевать на американский флаг.

Между тем, если бы у кого-нибудь сейчас и возникла идея вступить в переговоры с Колхаусом — а она ни у кого не возникала, — никто не знал бы, как с ним связаться. Убийца не объявил, сколько времени он отпустил городу до следующей атаки. Газета "Уорлд" наняла психиатров, и те, проанализировав второе письмо Колхауса, пришли к заключению, что оно свидетельствует об умственном расстройстве и что любые переговоры с человеком, именующим себя "Президентом Временного правительства Америки", были бы трагической ошибкой.

И все-таки одна практическая и очень веская идея набирала силу в Нью-Рошелл. Все классы общества требовали изгнания Уилли Конклина. Некоторые раздраженные граждане по этому поводу вступили даже с ним в прямой контакт. Брандмейстер приволок в полицейскую штаб-квартиру несколько анонимных писем, в которых авторы предлагали ему начать немедленно паковаться, а буде он не сделает этого, они, авторы, возьмут на себя работу Колхауса Уокера. Как и все без исключения шаги Конклина, предъявление этих писем в полицию было ошибкой. Они отнюдь не вызвали к нему сочувствия, как он надеялся, напротив: полиция стала обдумывать, как бы осуществить эту плодотворную идейку на деле. С самого начала Конклин не способен был понять, почему все люди с белой кожей не чувствуют к нему глубочайшего восхищения. Чем более непопулярным он становился, тем более жалким было его

замешательство. Ничтожный малый не мог даже уразуметь, что в требовании публики кроется не только желание разрядить ситуацию, но и возможность для него самого спасти свою шкуру. Он чувствовал себя мучеником и винил во всем "негролюбов", хотя они теперь как будто составляли полностью все население города. Он напивался до оцепенения и тупо жаловался окружающим. Тем временем его супружница готовилась к отъезду .

Так, хотя никто, собственно говоря, не овладел ситуацией и все муниципалитет, полиция, милиция штата, граждане, — все чувствовали свою уязвимость перед лицом черных герильеров, тем не менее две вещи были сделаны при кажущемся единодушии: "модель-Т" была поднята на поверхность — раз; обе местные газеты дали огромнейшие заголовки о том, что семья Конклина отчалила и укрылась в Нью-Йорке, — два. При желании Колхаус Уокер мог воспринять это как намек на возможность переговоров. Конечно, никаких уступок не было сделано, улицы по-прежнему кишели вооруженной стражей, но ситуация все-таки изменилась. Пусть он сожжет теперь всю метрополию Нью-Йорка, говорила одна передовица, или поймет, что любой человек, который берет закон в свои руки, выступает против цивилизованного и исполненного решимости народа и позорит ту самую справедливость, которую он хочет установить силой.

По контрасту с происходившим отъезд семьи прошел совершенно незамеченным. Отец организовал отправку багажа — пары огромных плетеных сундуков, шкафа для костюмов, комода с медными углами, нескольких чемоданов и шляпных коробок, — и в один из дней, с первыми лучами рассвета, они покинули Нью-Рошелл. Тем же утром в Нью-Йорке на Пенсильванском вокзале они сделали пересадку на поезд в Атлантик-Ситию Вокзал был построен по проекту фирмы Стэнфорда Уайта и Чарльза Маккима. Каменные колоннады фасада, смоделированного по образцу римских бань Каракаллы, распространялись от 31-й до 33-й улиц и от Седьмой до Восьмой авеню. Носильщики выкатили на кресле Дедушку. Мать была с ног до головы в белом ансамбле. Прачка несла Сариного бэби. Вокзал внутри был столь огромен, что говор толпы казался лишь глухим бормотанием. Малыш смотрел на потолок, на своды зеленого стекла, на арки, поддерживаемые стальными ребрами и стройными стальными колоннами. Свет, идущий через крышу, напоминал мягкую кристаллическую пыль. Спускаясь к перронам, Малыш смотрел во все глаза и видел на огромном пространстве впряженные уже локомотивы, в нетерпении, среди пара, криков, звона колоколов, ожидавшие, когда их выпустят на свободу, в город.

А где же был Младший Братец? Его отсутствие, последовавшее за столь страстной защитой Колхауса, никого не озадачило. В доме привыкли к его болезненному нраву. Он появлялся периодически на фабрике флагов и фейерверков и никогда не забывал получить жалованье. При отъезде семьи он однако не присутствовал, и Мать оставила ему записку в холле. Записка эта так и не была распечатана.

Спустя несколько дней после атаки на "Эмеральдовский движок" Младший Брат приехал в Гарлем, в похоронное бюро, откуда отправилась в последний путь Сара. У дверей его встретил владелец. "Я бы очень хотел поговорить с мистером Колхаусом Уокером, — сказал Младший Брат. — Я буду ждать каждый вечер под аркадой "Манхэттен-казино", пока он не убедится, что может принять меня без опаски". Могильщик выслушал его равнодушно и не выказал ни сном ни духом, что понимает, о чем идет речь. Тем не менее молодой человек занял свою позицию у "Казино" и каждый вечер теперь стоял там, выдерживая взгляды черных хозяев заведения и провожая глазами грохочущие поезда надземки. Погода была теплая, и после начала концерта двери в театре открывались, и тогда можно было услышать синкопированную музыку Джима Европы и аплодисменты зрителей. Разумеется, Колхаус оставил свою работу и съехал с квартиры, так что для полиции он как бы вроде и не существовал вовсе.

На четвертую ночь его бдения к нему приблизился хорошо одетый цветной юноша и попросил "дайм", то есть двадцать пять центов. Не выказывая удивления тем, что столь благополучный молодой господин клянчит монетки, МБМ покопался в карманах и извлек просимое. Парень улыбнулся и сказал, что у него там, кажется, в карманах масса мелочи – не может ли мистер добыть еще четвертак? Младший Брат посмотрел ему в глаза и увидел там внимательнейшую оценку, взгляд человека, облеченного властью принимать решения. На следующий вечер МБМ уже ждал этого юношу, но не дождался. Однако он чувствовал, что кто-то следит за ним, и, когда публика вошла в театр, увидел другого черного юношу, одетого, как и первый, в костюм и галстук, с "дерби" на голове. Юноша пошел прочь, и МБМ импульсивно последовал за ним. Он долго шел за ним вдоль рядов замызганных домов, через перекрестки, мощенные кирпичом, за угол, а угол, еще раз за угол. Он был уверен, что некоторые места они проходили по нескольку раз. Наконец, на какой-то тихой улице юноша скрылся за цокольной дверью кирпичного дома. Дверь осталась открытой. МБМ вошел внутрь, открыл еще одну дверь и увидел прямо перед собой Колхауса Уокера, восседающего за столом со скрещенными на груди руками. Вокруг него словно стража стояли несколько негритянских юношей, одетых в его благопристойной манере – отутюженный костюм, чистый воротничок, галстук, булавка. Младший Брат сразу узнал среди них двоих – вчерашнего, попросившего монету, и сегодняшнего. Дверь за ним закрылась. "Что вам угодно?" – спросил Колхаус. Младший Брат был готов к этому вопросу. Он составил в уме целое заявление о справедливости, цивилизации, о праве каждого человеческого существа на достойную жизнь. Увы, он все это позабыл. "Я умею делать бомбы, – сказал он. – Я знаю, как взрывать".

Таким образом, Младший Брат Матери определил свою карьеру нарушителя закона и революционера. Некоторое время семья и понятия не имела об этом. Единственное, что хоть как-то связывало его с тем негром, было исчезновение со склада на отцовской фабрике нескольких бочонков пороха и пакетов с разного рода сухими химикатами. Об этой краже было должным образом сообщено полиции, а та должным образом о ней забыла, так как была очень занята делом Колхауса. В течение нескольких дней МБМ перетаскал все эти дела в цокольный этаж кирпичного дома, где потом и приготовил три пакета чудесной разрушительной силы. Идя еще дальше, он сбрил свои светлые усики, обрил голову и вычернил лицо жженой пробкой. Не останавливаясь и на этом, он подрисовал себе преувеличенные губы и стал выкатывать глаза, не замечая некоторой иронии у последователей Колхауса.

Дальше – больше, он собственноручно швырял бомбы в Муниципальную пожарку No 2, стремясь доказать свою боевую силу окружающим и прежде всего самому себе.

Вся эта таинственная история доведена до нас собственной рукой Младшего Брата. Он вел дневник со дня своего прибытия в Гарлем по день смерти в Мексике менее года спустя. Колхаус Уокер милитаризировал свою тризну. Его скорбь по Саре превратилась в церемонию мщения на манер древних воинов. Младшему Брату иногда казалось, что напряженный особенный взгляд Колхауса устремлен далеко и видит что-то за могилой любимой. Его власть над молодыми сподвижниками была абсолютной – может быть, потому, что он не просил их подчиняться. Никто из них не был наемником. Их было пятеро, кроме МБМ; старшему – за двадцать, младшему не было и восемнадцати. Их уважение к Колхаусу граничило с благоговением, как к батюшке. Они жили все вместе в цоколе кирпичного дома и сдавали в общий котел свои заработки клерков и посыльных Младший Брат добавлял к котлу свои сравнительно щедрые конверты с фабрики флагов и фейерверков. Скрупулезный подсчет расходов. До последнего пенни. Подражание Колхаусу в одежде выработало своеобразную униформу – костюм и котелок-"дер-би". Они вели себя как солдаты на карауле.

Ночами они обсуждали ситуацию, куда она может их привести, изучали реакцию прессы, засиживались допоздна.

Колхаус Уокер никогда не был груб или автократичен, напротив: он был всегда чрезвычайно любезен со своими последователями и всегда спрашивал их совета. Он старался не показывать им своей скорби. Его сдержанная ярость намагничивала их. Он просил, чтобы в доме не было никакой музыки. Ее не было. Ни одного инструмента. Его просьбы были для юношей приказом. Они принесли несколько коек и спали все вместе, как в армейском бараке. Пищу готовили по очереди, таким же образом поддерживали и необходимую чистоту. Они полагали, что вскоре им предстоит умереть на глазах у всего народа, на миру, где, как известно, и смерть красна. Эта уверенность вызывала в них драматическое, приподнятое самосознание. Младший Брат с его склонностями полностью интегрировался в этой коммуне. Он стал одним из них. Каждое утро он просыпался с ощущением торжественной радости.

В обеих своих атаках Колхаус использовал автомобили, которые ребята воровали на Манхэттене. Машины потом возвращались в гаражи без всяких повреждений, а нью-йоркская полиция, получавшая заявления об этих странных кражах, ну никак не могла связать их с событиями в Вустере. После того как снимок Колхауса появился в газетах, он позволил одному из юнцов обрить себе голову и удалить усы. Изменение оказалось потрясающим — обритая голова была впечатляюще массивной. Младший Брат воспринимал это не как маскировку, но как приготовление к последней решительной битве. Через день или два в газетах появились снимки вытащенной из пруда "модели-Т". Ощутимое доказательство силы. Тихое ликование в цокольном этаже. К этому времени подоспели и сообщения о бегстве Уилла Конклина. "Жаль, — сказал один из юнцов, — если бы мы захотели, Уилли давно был бы уже жмуриком. Мы потеряли свой шанс". — "Не-не, братишка, — возразил другой, — пусть он лучше будет жив. Он будет для них как чума. Сейчас мы устроим в этом городишке такого шороху, что после этого любой фраер трижды подумает, прежде чем затеет какую-нибудь кутерьму с цветным народом".

Ах, какое это было лето! Каждое утро Мать открывала занавешенную белым стеклянную дверь и смотрела, как солнце встает из моря. Чайки скользили над бурунами, а потом садились на пляж. Поднимающееся солнце съедало тени на песке, и казалось, что сам состав земли меняется, а к тому времени, когда Отец в смежной комнате был на ногах, благосклонное голубое небо уже сияло, и пляж был белым, и первые купальщики уже шли к прибою попробовать воду кончиками пальцев.

Завтрак накрывали в отеле на крахмальных скатертях, сервировка — тяжелое серебро. Они вкушали половинку грейпфрута, рубленые яйца, горячий хлеб, вареную рыбу, ломтики ветчины, колбасу, всякие разные джемы, кофе и чай. И все это время, пока еда вкушалась, океанский бриз поднимал шторы и пробегал соленой дрожью вдоль высокого лепного потолка. Малыш жаждал непрестанного движения — сорваться, убежать. Через несколько дней ему было разрешено раньше других вставать из-за стола, и все премило удивлялись, как быстро, почти мгновенно, он оказывался за окнами, несся по широким ступеням, держа свои туфли в руке. Уже были кое-какие шапочные знакомства на набережной. Естественно, в конечном счете начнутся беседы, пока — лишь мягкое любопытство, взгляды, оценка туалетов. Торопиться было некуда. Они чувствовали, что выглядят преуспевающими и даже шикарными. Мать накупила себе на набережной чудной одежды, восхитительные летние ансамбли, белое, желтое. В послеполуденном размягчении она позволяла себе прогуляться без шляпы, под одним солнечным зонтиком. Лицо ее было омыто мягким золотым светом.

Они купались ближе к вечеру, когда воздух останавливался и жара усугублялась. Купальный костюм Родительницы был достаточно скромным, но все равно ей потребовалось несколько дней, чтобы к нему привыкнуть. Он был, конечно же, черным, с юбочкой и панталонами ниже колен, и дополнялся купальными туфлями. Однако он все-таки экспонировал лодыжки, а также и шею почти до лифа. Мать настояла, чтобы они купались за несколько сот ярдов от ближайших пляжников. Они устраивались под отельным зонтом с оранжевыми буквами вдоль зубчатого края. Негритянка в соломенном кресле сидела сбоку. Малыш и бэби занимались крохотными крабами, которые закапывались в песок, оставляя пузырчатый след на мокрой поверхности. У Отца был купальный костюм без рукавов, с горизонтальными белыми и синими полосами, которые делали его ляжки похожими на цилиндры. Родительница находила безвкусным смотреть на очертания его мужественности, когда он выходил из воды, и потому в эти моменты она отворачивалась. Родитель любил заплывать. За бурунами он ложился на спину, пуская струи воды вверх, словно кит. Он выскакивал на песок, шатаясь под ударами волн, смеясь, волосы облепляли ему голову, с бороды капало, костюм обтягивал его с полным бесстыдством. Она чувствовала мгновенные уколы отвращения или неприязни она не могла разобраться в этих мимолетностях. После купания все отправлялись отдыхать. Она с облегчением снимала свой костюм и смывала соль с кожи. Она была столь нежна, что пляж представлял для нее некоторую опасность. Все же, охладившись своими омовениями, напудрившись и надев что-нибудь легкое, свободное, она ощущала, что солнце накапливается в ней, бродит в крови, зажигает ее, словно море в полдень, когда там горят миллионы бриллиантовых вспышек. Вскоре Родитель закрепил за собой этот час, как время для амура. Он готов был заниматься любовью похотливо и бездумно каждый день, если бы она позволила. Она молча сопротивлялась этой узурпации, не так, как в прежние дни, но с каким-то новым самосознанием, как будто ее кожа сама отталкивала его притязания. Она много думала об Отце. События, происшедшие после его возвращения из Арктики, его реакция на них разрушили ее веру в него. Спор, который у него произошел с братом, еще звучал в ее ушах. Все же иногда, моментами, а то и целыми днями она любила его по-прежнему, с чувством собственности, неизменности, как в те времена, когда она полагала, что браки фиксируются на небесах. Впрочем, она и

раньше всегда чувствовала, что у них разное будущее, что жизнь, которую они ведут вместе, лишь род какой-то подготовки к тому времени, когда производитель фейерверков и его жена вырвутся из своего респектабельного существования к подлинной жизни. Конечно, она не знала, в чем будет заключаться эта жизнь, никогда не знала. Да больше уже и не ждала ее. Во время его отсутствия, когда ей пришлось принимать самой некоторые деловые решения, все таинственное могущество слова "бизнес" рассеялось для нее, и она увидела его тоскливую будничную суть. Не предполагая больше увидеть себя когда-нибудь снова красивой и грациозной, она пришла к выводу, что и Отец, который, может быть, когда-то во время ухаживания и воплощал для нее неопределенные любовные идеалы, теперь постарел и поскучнел, как-то отупел от своей работы, а может быть, и от своих путешествий, достиг уже своих пределов и больше никогда их не переступит.

Все же она была рада, что они — в Атлантик-Сити. Сарин бэби находился здесь в безопасности. Впервые за время, прошедшее с Сариной смерти, она думала о ней без слез. Честно говоря, ей также весьма нравилось быть здесь на виду у публики, в обеденной зале отеля, или на веранде по вечерам, или на променаде, прогуливаясь вдоль павильонов, магазинов и пирсов Иногда они нанимали кресло на колесах. Они сидели в нем вместе с Отцом, а служитель сзади медленно катил их вдоль променада. Лениво они созерцали встречных пассажиров подобных же экипажей или искоса поглядывали на тех, кого случалось обогнать. Отец притрагивался к полям своего канотье. Кресла эти были плетеные, с холщовым бахромчатым верхом, они напоминали ей двухместные коляски времен ее детства. Два боковых колеса были большущими, а поворотное колесо впереди — маленькое, оно слегка поскрипывало. Малыш обожал эти кресла. Их можно было нанять и без тягловой силы, и это ему нравилось больше всего. Тогда он сам толкал кресло с папой и мамой и мог направлять его куда хотел и с какой угодно скоростью, и у родителей не было никакой нужды поучать его. Большие отели стояли один за другим вдоль променада, их шторы хлопали под океанским ветром; у каждого на безукоризненно покрашенном крыльце стояли в ряд креслакачалки и белые плетеные стулья. Морские флаги струились над куполами, а по ночам они были освещены раскаленными добела лампами, обрисовывающими контур крыш.

Однажды вечером семья остановилась у павильона, в котором негритянский духовой оркестр напористо играл рэг. Мать не знала, какой именно, но музыка тут же напомнила ей собственное пианино, звенящее под чудными пальцами Колхауса Уокера. Она вовсе не забыла недавней трагедии, но чувствовала лишь какое-то высвобождение, как будто бризы этого курортного города выдували из головы тяжелые мысли тут же, как они появлялись. Теперь музыка вдруг захватила ее, она ассоциировалась для нее и с Младшим Братом. Любовь к нему, страстное обожание пронзили ее. Ей казалось сейчас, что она его забросила. Худое, нервное, порывистое существо. Какая-то укоризна, какое-то отвращение. Вот так он смотрел на нее через стол, когда Родитель чистил свой пистолетус. Она почувствовала легкое головокружение, и, глядя в освещенный павильон, где неукротимые музыканты в красно-синей униформе работали со своими сверкающими трубами, корнетами, тубами и саксофонами, она подумала, что под каждой из этих псевдовоенных фуражек можно было бы увидеть торжественный лик Колхауса.

С этого вечера приморские восторги Родительницы стали более зыбкими. Ей приходилось теперь концентрироваться. Она проявляла определенную решимость, чтобы сохранить себе безоблачное небо. Она заботилась о сыне, о муже, об инвалиде-папаше и особенно о чудесном негритенке, который здесь процветал и рос не по дням, а по часам. Она стала также замечать внимание, которое ей оказывали некоторые гости отеля. До этого они кружили по краю ее сознания, ожидая с ее стороны благосклонности. Теперь она готова была даровать ее этим людям. В отеле было несколько впечатляющих европейцев. Германский военный атташе с моноклем в глазу, который всегда отдавал ей честь со сдержанной галантностью. Высокий и стриженный под излюбленный ими милитаристский бобрик, он выходил к обеду в белой униформе с черным галстуком. Он устраивал целое представление, заказывая вина и отвергая их. С

ним не было женщины, но несколько довольно хамоватых мужланов, явно ниже его по рангу. Отец сказал, что это капитан фон Папен, инженер. Они видели его каждый день гуляющим по пляжу, раскатывающим топографические карты, показывающим что-то в море и что-то говорившим своим подручным. Обычно в это время какое-нибудь судно проходило на горизонте. "Это что-то вроде инженерной разведки, – говорил Отец, лежа на песке, – не понимаю, что может интересовать немцев в Южном Джерси". Отец не замечал двусмысленного интереса этого инженера к его жене. Мать это забавляло. С первого же беззаботного взгляда, которым она ответила на внимание офицера, она поняла, что в этом повелительном монокле сфокусировались самые похотливые намерения. Она решила игнорировать германца.

Была там также престарелая французская пара, с которой она обменивалась любезностями, смеялась, вспоминая свой школьный французский, а они великодушно похваливали ее произношение. Они появлялись на солнце, закутанные, как коконы, в белые одежды и газ, увенчанные панамами. Кроме того, они всегда носили с собой зонты. Муж был ниже своей жены и весьма тяжеловат, веснушки на лице, толстые очки. Он не расставался с сачком для бабочек и каким-то кувшином, а она все время таскала тяжеленную корзину для пикника. Каждое утро они исчезали в отдаленной дымке побережья, где не было ни отелей, ни променадов, но лишь только чайки, да кулики, да трава на дюнах, в которой как раз и трепетали вожделенные его крылышки. Он был профессор из Лиона — на пенсии.

Мать старалась заинтересовать Дедушку этой французской парой: как-никак общее академическое прошлое. Старик, однако, отверг знакомство. Он был полностью поглощен своим состоянием и слишком раздражителен, чтобы участвовать в цивилизованной беседе. Он признавал лишь одно занятие на этом курорте — ежедневные катания в кресле по променаду. В кресле, считал он, он никому не покажется дряхлым. На коленях он держал трость, и если движение на променаде замедлялось по вине пешеходов, он поднимал трость и тыкал острым концом как в мужские, так и в женские спины. Возмущенные люди оборачивались, а он проплывал мимо.

Были среди гостей, разумеется, и неевропейцы: гигант маклер из Нью-Йорка со здоровенной женой и тремя большущими детьми, которые ни слова не произносили за обедом; несколько семей из Филадельфии, что можно было сразу же определить по гнусавой речи. Мать, однако, находила своих соотечественников неинтересными. В иностранцах, казалось ей, гораздо больше жизни. Вот, например, барон Ашкенази, маленький подвижный человек, шелковая рубашка расстегнута на шее, на голове легкомысленная белая кепочка с пуговицей на макушке, он ей очень нравился, эдакая "заводная" персона, глаза так бросают стрелы во все стороны, будто он боится что-то потерять, что-то упустить, как ребенок. Он носил на цепочке через шею прямоугольное стеклышко, обрамленное металлом. Увидев что-то для себя интересное, он тут же подносил это стеклышко к глазам, как бы фиксируя момент. Однажды пасмурным утром на крыльце отеля и Мать попала в его рамочку. Пойманный ее взглядом на месте преступления, он рассыпался в извинениях. Сильный иностранный акцент. "Я, понимаете ли, занят в бизнесе движущихся картинок и вот, понимаете, даже на вакациях не могу удержаться, вы меня понимаете". Он смеялся, как бы поблеивал, и Мать была очарована. Блестящие черные волосы и маленькие деликатные руки. Потом она видела его на пляже, на некотором расстоянии, он бегал там, развлекая какого-то ребенка, и время от времени подносил к глазам свое забавное стеклышко. Солнце стояло за ними, и он казался ей движущимся силуэтом. Какая энергичная фигура. Она улыбалась.

Барон оказался первым гостем за их столом. Он явился с красивой маленькой девочкой, которую представил как свою дочку. Она была удивительно хороша, примерно того же возраста, что и Малыш. У Матери тут же появилась надежда, что они подружатся. Конечно, за столом они не сказали друг другу ни слова и даже не взглянули друг на дружку Отец не мог оторвать от девочки глаз. Экая малышка-средиземноморочка с густыми черными волосами, в чудесном белом кружевном платьице с атласным верхом, очерчивавшим легчайшие намеки на будущие прелести. За весь обед она не сказала ни единого

слова и даже не улыбнулась. Вскоре, однако, после закусок барон объяснил, в чем дело: понизив голос и притрагиваясь к руке дочки, он сказал, что ее мать умерла несколько лет назад, но не сказал от чего. Больше он уже не женился. Пауза. Спустя момент он снова уже кипел энергией. Он говорил быстро, с европейским акцентом, частенько невпопад, но тут же, понимая это, смеялся первый. Жизнь восхищала его. Он жил своими ощущениями и не уставая делился ими с окружающими: вкус вина ли это был или множественное отражение свечи в хрустальном канделябре. Незамысловатые его восторги были заразительны, и вскоре уже с лиц Родителей не сходила улыбка. Они забыли о себе. Удивительно чувствовать мир так, как чувствует его барон – живым каждое мгновение. Он поднимал свой стеклянный прямоугольник, беря в рамку Мать и Отца, детей, официанта, идущего к столу, дальний конец столовой, где пианист и скрипач играли на маленькой сцене, декорированной пальмами в кадках. "В кинофильмах, – говорил барон, – мы смотрим на то, что там уже имеется. Жизнь сверкает на теневом экране, она выходит из мрака нашего сознания. Это большой бизнес. Люди хотят знать, что с ними происходит. За несколько пенни они приходят посмотреть на самих себя в движении: как они бегут, гонится на автомобилях, дерутся, как они, прошу, не обижайтесь, обнимаются. Это самое важное сейчас, в этой стране, где каждый по сути дела – новичок. Огромная потребность в понимании. – Барон поднял бокал. Посмотрел на вино и попробовал его. – Вы, конечно, видели "Его первую ошибку"? Нет? А "Дочь невинна"? Нет? – Он рассмеялся. Не смущайтесь! Это две моих первых экранных пьесы. Одночастевки. Я сделал их меньше чем за пять сотен долларов, но каждая принесла мне по десять тысяч. Да-да, – сказал он смеясь, – чтоб я так жил!" Отец кашлянул и покраснел при упоминании столь конкретных цифр. Не понимая, барон настойчиво объяснял ему, что это хотя и хороший доход, но вовсе не экстра. Фильмовый бизнес переживает бум, и всякий может сделать хорошие деньги. Вот сейчас, например, он, барон, входит в компанию с "Патэ" для производства пятнадцатичастевой истории! Каждый ролик будут показывать в течение недели, одну неделю за другой, пятнадцать недель подряд, и зрители будут приходить, чтобы увидеть, что там дальше имело место быть, вот так-с. С озорным взглядом он достал сверкающую монетку из кармана и выщелкнул в воздух. Она взлетела почти до потолка. Все смотрели как завороженные. Барон поймал монетку и громко трахнул ладонью о стол. Сервировка подпрыгнула. Вода закачалась в стаканах. Он показал популярный новый пятицентовик, никель с буйволом, "баффало-никель". Отец не мог никак понять, для чего он все это делает. "Я называю теперь себя "Баффало-Никель-Фотопьеса, инкорпорэйтед", сказал восторженный барон.

Он продолжал говорить, а Мать посмотрела через стол на двух детей, сидевших рядом. Ей захотелось заключить их в прямоугольную рамку. Ее сын с аккуратно зачесанными назад волосами, в большом белом воротничке и костюме маленького мужчины. Его голубые глаза с крапинками желтого и зеленого. Таинственная красивая девочка рядом. Вот она поднимает глаза и отвечает на взгляд Матери с твердостью и прямотой, почти на грани вызова. Мать видит их как жениха и невесту; сказочки школьных лет, свадьба Мальчика с Пальчик

Вот так эти семьи встретились. Солнце каждое утро пронизывало небо и море, и дети искали друг друга в широких коридорах отеля. Когда они вырывались наружу, морской воздух врывался в их легкие. Песок на пляже холодил ноги. Тенты и вымпелы щелкали на ветру.

Тятя каждое утро работал над своим пятнадцатичастевым сценарием, диктовал свои идеи стенографистке и прочитывал записанное накануне. Оставшись наедине с собой, он все-таки иногда задумывался над своей дерзостью. Иногда на него нападали периоды какой-то внутренней дрожи, и он сидел тогда в своей комнате согнувшись, куря сигареты без мундштука, оползая в какую-то пучину, словно тот, старый Тятя. Однако новое существование быстро взнуздывало его. В принципе вся его личность как бы перевернулась, он стал разговорчивым и энергичным человеком, нацеленным только на будущее. Он чувствовал, что заслужил свое счастье. Он построил его без посторонней помощи, в самом деле. Целые дюжины книжек сделал он для "Франклинской компании новинок". Потом сконструировал волшебный фонарь, в котором бумажная полоса с напечатанными на ней силуэтами поворачивалась на колесе, а деревянный челнок, наподобие ткацкого, сновал взад-вперед перед раскаленной лампой. Аппаратус сей был принят для отправки по почте компанией "Сирс, Робак энд К°", и тогда "Новинки" предложили ему стать партнером. Спустя некоторое время он обнаружил, что и другие занимаются живыми картинками, подобными его собственным, но никто не делает это на целлулоидной пленке. Тогда он стал интересоваться фильмами. Вскоре он продал свой пай и двинулся в кинобизнес. В те дни здесь любой достаточно самоуверенный человек мог получить поддержку Фильмовые компании формировались за одну ночь, являлись на поверхность, лопались, исчезали, перестраивались, сутяжничали, пытались монополизировать распределение, завладеть патентами на разные технические процессы. Анархия, вспышки и фейерверки новой индустрии.

В те времена в Америку то и дело прибывали титулованные европейские иммигранты, обнищавшие до крайности и мечтавшие продать себя и свои титулы дочкам американских нуворишей. Тяте тогда пришла счастливая мысль и о своем собственном "баронстве", почему бы нет. Теперь вместо того, чтобы избавиться от сильного еврейского акцента, ему нужно было лишь обкатать свой язык, сделать его более цветистым. Он выкрасил волосы и бородку, вернув им первоначальный их цвет. Новый человек. Дочка одета ну просто как принцесса. Он хотел, чтобы из ее памяти выветрилось все, что связано с грязными иммигрантскими улицами. Он закупит для нее весь свет и солнце мира, чистый ветер океана на всю ее остальную жизнь. Она играет на пляже с пригожим мальчуганом приличного происхождения. Она спит в мягких белых простынях под окнами, глядящими в бесконечное небо.

Малыш и Малышка каждое утро отправлялись на пустынные полосы пляжа, где за дюнами и травами скрывался из виду отель. Они копали тоннели и каналы, строили стены, бастионы и ступенчатые дома. Солнце вставало над их согбенными спинами, пока они без устали трудились. В полдень они ныряли в прибой, а потом бежали наперегонки в отель. После ленча они снова играли на пляже, но уже неподалеку от зонтиков, собирали куски дерева, раковины, гуляли по отливным полосам воды, а шоколадный бэби энергично шлепал вслед за ними. Позже взрослые отправлялись отдыхать в отель и оставляли их одних. Голубые тени снова появлялись на песке, когда они медленно вдоль линии прилива направлялись в дюны, чтобы там предаться самому высшему своему удовольствию – игре в похороны. Сначала он делал ей ямку в мокром песке, и она ложилась на спину. Он располагался у нее в ногах и начинал медленно покрывать ее песком – ступни, ноги, живот, маленькие грудки, плечи и руки. Увеличенная проекция ее форм. Большущие ступни. Круглые колени. Бедра становились подобием дюн, а на груди он сооружал купола со шпилями. Пока он работал, она не спускала с него своих темных глаз. Он нежно поднимал ее голову и подкладывал

под нее подушку из песка. Со лба на плечи опускалось нечто вроде египетского головного убора.

Дождавшись завершения скульптуры, она начинала ее потихоньку разрушать, шевеля пальцами ног. Структура медленно крошилась. Она поднимала одно колено, потом другое и, наконец, выскакивала целиком из песка и мчалась к воде. Он – за ней. Они хватались за руки и пробивались сквозь стену прибоя. Потом бежали обратно в дюны. Наступала ее очередь на захоронение. Она очень тщательно и подробно оформляла оболочку для его тела. Увеличивала ноги, расширяла плечи, маленькое выпячивание на его плавках она превращала горстями песка во внушительный холм. Когда работа была сделана, он начинал разрушать ее сначала потихоньку, а потом взрываясь, и снова они мчались к воде.

Иногда по вечерам родители брали их поразвлечься на набережную. Они слушали оркестр и смотрели уличные представления. Шли пьесы" В 80 дней вокруг света" и "Доктор Джекил и мистер Хайд". Над театром проплывали облака. Однако настоящий-то восторг был среди аттракционов, которые взрослыми совершенно не одобрялись: показ всяких чудищ, стрельба из лука за пенни, живые картинки. Конечно же, дети были слишком хитры, чтобы открыто выразить свои желания. Дождавшись, когда походы на набережную перестали казаться взрослым чем-то из ряда вон выходящим, они убедили их, что и сами могут вполне обеспечить себя этими невинными развлечениями. Засим, заполучив полтину, срывались и исчезали в темноте. Подолгу они стояли у стеклянного ящика механического предсказателя. Засовываешь туда пенни, появляется фигура в тюрбане, башка ее поворачивается направо-налево, руки, дергаясь, вздымаются, обнажаются сверкающие зубы, появляется билет, после чего весь аппарат, накренившись, замирает в полуулыбке. "Я великий волшебник Он-Она", – гласил билет. Рядом чудесная машина с клювом. Засунув деньги, ты можешь, оперируя колесом, попытаться достать этим клювом со дна машины любое сокровище, какое тебе захочется: ожерелье из ракушек, зеркальце из полированного металла, стеклянного крошечного котика. Неподалеку чудесные уроды: Бородатая леди, Сиамские близнецы, Дикарь с Борнео, Кардиффский гигант, Человек-аллигатор, Женщина шестьсот фунтов. Эта последняя, настоящий бегемот, поворачивалась на своем стуле и начинала трепетать, когда дети останавливались перед ней. Она вставала, как бы охваченная неудержимым волнением, и двигалась на них всей горой своей плоти. Огромные ее сады открывались и закрывались при каждом шаге, телеса ее волновались, она простирала к ним свои руки. Они шли дальше. Умные нормальные глаза уродов из-за заборчиков следили за их одиссеей. Гигант продал им кольца со своего пальца, которые впору пришлись бы им на талии. Сиамские близнецы за вполне умеренную плату подарили им надписанное фото.

Они были неразлучны, и это забавляло взрослых. Расставались они только на ночь, когда им приказывали идти спать, – впрочем, никогда не жалуясь и не хныча. Они разбегались по своим комнатам, даже не оглянувшись, и дрыхли как убитые. Утром, конечно, снова искали друг дружку. Он и думать не думал, как она красива. Она и думать не думала, как он пригож. Оба они исключительно остро чувствовали друг друга, словно были заряжены электричеством, они являлись будто силуэты сконцентрированного возбуждения, нимбы света, но их прикосновения в ту пору были лишь случайными, сигнальными жестами. Они были настолько связаны друг с другом ощущением полноты жизни, что им вовсе не нужно было разделяться и восхищаться друг другом для полного и мгновенного взаимопонимания. Конечно, они были оба красивы, он – в своей величавой блондинистой задумчивости, она в своей черноглазой с искорками гибкости, живости, дерзости. Когда они бежали рядом, волосы отлетали с их широких лбов. Своими маленькими ручками и ножками она оставляла в песке отпечатки уличной девчонки, обитателя темных лестниц. Ее быстрый шаг был как бы побегом от ужаса мрачных закоулков, дикого грохота мусорных баков. Когда-то ведь возилась она в деревянных сарайчиках за жилищами, хвосты грызунов хлестали ее по лодыжкам, она наблюдала, как спариваются собаки, как шлюха ведет клиента в свою грязную постель, как пьяница мочится сквозь спицы тележек. Он никогда не знал голода, не дрожал до синевы по ночам, страхи не загромождали его жизнь, он сам как бы искал их или чего-то, что связано с ними, он не знал, что есть на свете люди, которые вовсе не жаждут их познать. Наряду с этим он обладал особым зрением, иной раз он мог проникать в предметы, он видел порой невидимые краски и никогда не удивлялся совпадениям. В глазах его поворачивалась некая планета, голубая и зеленая с желтым.

Однажды они, по обыкновению, играли на пляже, когда солнце вдруг подернулось дымкой и с моря подул ветер. По их спинам пробежал холодок. Они встали и увидели идущие над океаном тяжелые черные тучи. Они рванули в отель. Начался дождь. Тяжелые капли выбивали в песке маленькие кратеры. Через минуту это уже был ливень. Они укрылись под досками променада в полумиле от отеля. Скорчившись там, слушали шум дождя и смотрели, как появляются лужи. Под променадом была настоящая свалка. Битое стекло и гниющие рыбьи головы с вылупленными глазами, оторванные ножки крабов, ржавые гвозди, сломанные доски, куски дерева, морская звезда, твердая как камень, масляные пятна, тряпки с засохшей кровью. Они выглянули из своей пещерки. В море поднимался шторм, небо светилось зеленым свечением. Молния расколола небо, как шрапнельная бомба. Шторм наказывал океан, задавал ему взбучку, терзал, запугивал. В эту минуту не видно было даже волн, но лишь какое-то бессмысленное разбухание. Престраннейшее освещение становилось все более интенсивным, небо желтело. Ударил гром, как будто страшная прибойная волна поднялась в небе, ветер хлестал по пляжу, закручивая песок. Сквозь дождь, и ветер, и пылающий свет брели, сгибаясь, две фигуры. Они то вглядывались вдаль, защищая глаза ладонями, то кричали во все стороны, делая из ладоней рупор. Дети смотрели на них, не двигаясь. Это были Мать и Тятя. Они спотыкались в мокром песке. Ветер облепил их одежду. Они прорывались к набережной. Черные волосы Тяти прилипли ко лбу и отсвечивали. Волосы Матери мокрыми прядями падали на лицо и плечи. Они искали детей. Взывали. Спотыкались. Бежали. Взывали. Они будто потеряли рассудок. Дети выбежали под дождь. Когда Мать увидела их, она упала на колени. Через мгновение все четверо были вместе, обнимаясь, увещевая и смеясь. Мать и смеялась, и плакала одновременно. "Где вы были, где вы были? Вы нас не слышали?" Тятя подхватил свою дочку на руки. "Слава богу, бормотал барон, – слава богу". Сквозь дождь и этот странный свет они суматошно поспешили назад к отелю. Промокли до костей. Тятя не мог удержаться и то и дело посматривал на промокшую Родительницу. Она выглядела так молодо с мокрыми своими волосами, упавшими на плечи. Юбки ее прилипли к чреслам, она нагибалась, чтобы оторвать их от тела, но ветер и дождь снова безобразничали. Когда они обнаружили, что дети пропали, они побежали на пляж, и там она сняла свои туфли и взяла его за руку, ища поддержки. Сейчас она шла, обняв детей за плечи, и он узнал в ее мокрых формах ту обильную телом дивную женщину с картины Уинслоу Хомера, которую вытягивают из моря буксирным тросом. Да есть ли человек, который не рискнул бы своей жизнью ради такой женщины, хотел бы я знать. Она показала на горизонт: полоска голубизны появилась над океаном. Внезапно Тятя обогнал всех и сделал кульбит. Потом прошелся колесом. Потом встал на руки и зашагал вниз головой. Вот уж хохотали дети.

Родитель проспал весь этот дивный инцидент. Он стал страдать бессонницей по ночам и "добирал" после обеда. Он чувствовал себя усталым. В газете он читал о растущем в конгрессе движении за налоги на доход. Вот первый признак окончания лета. Он регулярно звонил по телефону на свой заводик в Ныо-Рошелл. Дома пока все было спокойно. О черном убийце ничего не было слышно. Бизнес по-прежнему шел в гору, заказов было все больше. Ничто, однако, не успокаивало его. Ему наскучил пляж и океанские купания. Пора вернуться к нормальной жизни. Сколько можно торчать в Атлантик-Сити? Иногда он просыпался и чувствовал, что время и события прошли, а он остался еще более уязвимым, чем когда-либо. Он даже находил их нового друга, барона, временами отталкивающим. Родительница, напротив, привязалась к барону, но у Отца не было к нему никаких особых чувств, кроме легкого, моментами, отвращения. Он хотел бы запаковаться и тронуться, но его сдерживало то, что Мать чувствовала себя здесь в безопасности. Ей хотелось дождаться здесь завершения колхаусовской трагедии. Он-то знал, что это самообман. К ужасу отельной прислуги, она стала брать черненького бэби за свой стол в обеденной зале.

Отец взирал на ребенка с мрачноватым достоинством. За завтраком на следующий день после шторма он открыл газету и увидел на первой странице фотографию папочки. Банда Колхауса взломала самый знаменитый депозитарий искусства — библиотеку Пирпонта Моргана на 56-й улице. Они забаррикадировались внутри и угрожают все это уничтожить. Чтобы продемонстрировать свою силу, они швырнули на мостовую из окна страшную гранату. Отец смял газету. Часом позже его вызвали к телефону: звонили из офиса окружного прокурора Манхэттена. Во второй половине дня, сопровождаемый самыми добрыми и взволнованными пожеланиями Матери, он отправился поездом в Нью-Йорк.

Даже тому, кто пристально следил за этим делом с самого начала,

колхаусовская стратегия мести должна была бы показаться окончательным доказательством его ненормальности. Чем иным объяснишь, что трусливый и жалкий Уилли Конклин обернулся Пирпонтом Морганом, самой значительной фигурой своего времени? Восемь человек убито, перебиты лошади, разрушены здания, целый городок еще сотрясается от ужаса, а его амбициям все нет границ. Но, может быть, законы несправедливости, этого зеркала вселенной, противны всем принципам цивилизации?

Впрочем, из дневника Младшего Брата мы узнаем, что команда Колхауса разработала довольно последовательный план. Поскольку Конклин в ирландских кварталах был неуловим в той же степени, что Колхаус в Гарлеме, нужен был заложник. После двух ночей дискуссии выбор пал на Моргана. Более чем любой мэр или губернатор он представлял в сознании Колхауса власть белых. Годами карикатуристы и художники создавали его образ в цилиндре и с сигарой как абсолютное воплощение власти. Великих феодалов Нью-Йорка можно было заставить отдать целую армию брандмейстеров и целый флот "моделей-Т" как выкуп за Моргана.

Увы, Колхаус доверил разведку двум своим юношам, которые знали не очень-то хорошо город ниже 100-й улицы, а еще хуже образ жизни богачей. Когда разведчики определили, что Морган располагается в двух домах — в "браунстоуне" и во дворце белого мрамора, — они, конечно, решили, что резиденция — в мраморе. МБМ, без сомнения, заметил бы ошибку, но он был оружейником, он лежал на дне крытого фургончика, нагруженного взрывчаткой и снаряжением. Фургончик задом подошел к воротам библиотеки, и МБМ подали команду разгружать. Он откинул брезентовый полог, выглянул и закричал, что это не то здание. Однако обратного пути уже не было. Охранник лежал мертвым, в отдалении слышались полицейские свистки. Вся округа была взбаламучена. Заговорщики разгрузили фургон, закрыли болтом тяжелые ворота и заняли предписанные позиции. Потом Колхаус произвел быструю инспекцию добычи. "Ничего не потеряно, — сказал он, — мы хотели взять этого субъекта, а взяли его добро, это одно и то же".

Так уж случилось, что Пирпонта Моргана вообще не было в это время в Нью-Йорке. Уже два дня, как он плыл на пароходе "Кармания" в Италию. Он начинал свое медленное паломничество в Египет. Таким образом, вся эта акция, плохо и не ко времени организованная, приобретала особую прелесть. Почти немедленно помощнички из компании Джей Пи Моргана были информированы о случившемся. Они дали "беспроволочную" на "Карманию", чтобы получить от старика инструкции. Неизвестно почему — быть может, из-за поломки телеграфа, — "Кармания" не ответила, и посему, оставшись без инструкций, полиция не знала, что делать, а только лишь оцепила квартал между 36-й и 37-й улицами между Мэдисон авеню и Парк авеню. Уличное движение было отведено, вдоль оцепления взад-вперед галопировала конная полиция. Звуки города, казалось, разбивались здесь о стену молчания. Даже толпа стояла молча. К ночи зажглись лампы, получавшие питание от передвижных генераторов. Зеваки ощущали под ногами грохот этих генераторов, словно рык приближающегося землетрясения. Полиция была повсюду — в фургонах, в седлах, в пешем строю. Толпа все увеличивалась.

Граната, которую Младший Брат швырнул из окна после громогласного предупреждения, разорвала тротуар, и теперь прямо напротив ворот библиотеки зиял огромный кратер. На дне его вода, вырвавшаяся из поврежденной трубы, пузырилась, словно минеральный источник. Стекла были выбиты из окон по всему кварталу. Наискосок через улицу находилась какая-то частная резиденция "браунстоун", изрядно пострадавший от взрыва. Владельцы его предпочли скрыться, разрешив полиции использовать дом как штаб-квартиру. Полиция обнаружила, что можно безнаказанно входить в этот дом и даже свободно

передвигаться по той стороне 36-й улицы, если не переступать через бордюр. Дом тогда наполнился чинами управления и представителями городских властей, все они по мере того, как ситуация прояснялась, кивали друг на друга и старались спихнуть ответственность на кого-нибудь повыше. В конце концов в окружении свиты лейтенантов, капитанов и инспекторов на место происшествия прибыл окружной прокурор Нью-Йорка Чарльз Эс Уитмен. Уитмен основательно прославился на процессе лейтенантапреступника Бекера. Последний нанял четырех головорезов Кровавого Джипа, Даго Фрэнка, Беленького Льюиса и Луи Левшу – для того, чтобы они убили его врага, известного игрока Германа Розенталя. На процессе прокурор потребовал смертной казни, и приговор был таков. Благодаря этому грандиозному делу Уитмен стал потенциальным кандидатом на пост мэра Нью-Йорка. Поговаривали даже и о выдвижении его кандидатуры на президентское кресло. Он как раз собирался сбежать из Нью-Йорка на летние вакации в Ньюпорт, в сорокакомнатное логово знаменитой дамы – миссис Стивезант-Рыбчик. Он был совсем недавно представлен ей другой, тоже великосветской дамочкой миссис Оу Эйч Пи Белмонт. Он очень ценил эти связи, однако, когда услышал про новости, не смог удержаться и прибыл на 36-ю. Он полагал, что это его долг как будущего президента. Он любил фотографироваться. Явившись, Уитмен немедленно взял инициативу в свои руки, и все тут же признали его авторитет, не исключая и врага, проклятого холерика мэра Уильяма Джей Гейнора. Это было отражением политической реальности, как полагал окружной прокурор. Он глянул на часы и решил, что у него есть, пожалуй, несколько минут, чтобы покончить с делом этого безумного "хорька". Он запросил из архитектурной фирмы Чарльза Маккима и Стэнфорда Уайта схемы и планы библиотеки. Изучив их, он назначил в разведку одного атлетически сложенного постового офицера. Офицер сможет довольно легко пробраться по крыше и стеклянному своду главного холла и оттуда определить, сколько же ниггеров засело внутри. Офицер отправился на дело через сад, соединявший библиотеку с моргановской резиденцией. Уитмен и другие чины ждали результатов в импровизированной штаб-квартире. Вдруг небо ярко вспыхнуло, грянул взрыв, а за ним последовал вопль агонии. Уитмен побледнел. "Они заминировали это проклятое место", - сказал он. Ктото добавил: "Парень, должно быть, убит на месте". – "Все же ему немного повезло, добавил другой, – в противном случае никто бы не смог вытащить его оттуда". Все помрачнели. Все смотрели на Уитмена. Он приказал позвать репортеров и заявил им, что в библиотеке засело не меньше дюжины, а то и два десятка негодяев.

В последующие часы окружной прокурор Уитмен проводил совещание за совещанием. Полковник, командовавший милицией Манхэттена, настаивал на полновесной военной акции. Это так встревожило одного из моргановских референтов, длинного нервного субъекта в пенсне, сжимавшего руки на груди будто какая-то дива из "Метрополитен-оперы", что он начал дрожать как в лихорадке. "Да знаете ли вы ценность всех наших накоплений! У нас там четыре шекспировских фолио! [8] У нас там Библия Гутенберга на пергаменте! Семьсот инкунабул и письмо на пяти страницах Джорджа Вашингтона"! Полковник помахал пальцем в воздухе. "Если мы не займемся этим сукиным сыном, если мы не оторвем ему яйца, любой ниггер в этой стране сможет брать вас за глотку! Где вы тогда будете с вашими библиями?" Уитмен шагал взад-вперед. Городской инженер сказал, что если бы можно было починить водопровод, они бы попытались прорыть туннель под фундаментом библиотеки. "Сколько времени вам нужно на это?" — спросил Уитмен. "Два дня", — ответил инженер. Кто-то предложил применить ядовитый газ. "Неплохая идея, — согласился Уитмен, — можно уничтожить все живое на Ист-Сайде". Он начинал раздражаться. Библиотека была построена из подогнанных мраморных блоков. Даже лезвие ножа нельзя было просунуть между ними. Все заминировано, черт побери, и из каждого окна смотрит пара внимательных "хорьковых" глаз.

Уитмену пришла идея обратиться за советом к полицейским офицерам. Старый сержант с многолетним уличным стажем, ветеран "Адской кухни" и "Тендерлойна", высказался в таком духе: "Главная штука в том, сэр, чтобы втянуть этого Колхауса Уокера в разговор. Любое толковище успокаивает маньяка, даже вооруженного. Вы с ним начинаете толковать, он с вами начинает толковать, и вот уже ситуация в ваших руках, сэр". Уитмен, надо сказать, не лишенный огонька, взял мегафон, вышел на улицу и прокричал Колхаусу, что хочет поговорить с ним. Он размахивал своей соломенной шляпой. "Если есть проблемы, — кричал он, — мы их можем вместе решить". Он стоял там несколько минут, крича и махая шляпой. Потом вдруг открылось маленькое окошечко возле парадного входа. Цилиндрический предмет вылетел оттуда на улицу. Уитмен рванул назад, а люди в доме рухнули на пол. Ко всеобщему удивлению, взрыва не последовало. Через несколько минут кто-то посмотрел в бинокль и доложил, что предмет является серебряной кружкой с крышкой. Офицер выбежал на улицу, схватил кружку и вернулся бегом. Средневековое серебро, рельеф с охотничьей сценой. "Семнадцатый век, — сказал нервный хранитель сокровищ мистера Моргана, — кружка принадлежала Фридриху Саксонскому". — "Я по-настоящему рад слышать это", — сказал Уитмен. Сняли крышку и нашли внутри кусок бумаги с телефонным номером. Референт сказал, что это как раз его телефон, оттуда.

Окружной прокурор лично взялся звонить. Он присел на край стола, держа говорилку в левой руке, а наушник в правой. "Алло, мистер Уокер, — сказал он сердечно, — это вам такой Уитмен звонит, окружной прокурор". Он был потрясен спокойным, деловым тоном негра. "Мои требования прежние, — сказал голос в трубке. — Я хочу получить машину в той же кондиции, в какой она была до того, как мне преградили путь. Вернуть Сару вы мне не можете, но за ее жизнь я требую жизнь брандмейстера Конклина". — "Колхаус, — сказал Уитмен, — вы же знаете, что я представитель правосудия, и я никак не могу действовать вне закона, то есть я не могу вам отдать этого человека за здорово живешь. Вы ставите меня в несостоятельную позицию, дорогой. Тем не менее я обещаю вам, что лично расследую все дело, выясню все статусы, все до точки. Однако, я не могу для вас сделать ничего, пока вы сидите там, внутри". Колхаус, казалось, не слышал его. "Даю вам сутки, — сказал он. Потом я взорву все это дело". Отбой. "Алло, — кричал Уитмен, — алло, алло". Он приказал оператору соединить еще раз. Ответа не было.

Уитмен послал телеграмму миссис Стивезант. Надеюсь, вы читаете газеты, миледи. Его глаза,

склонные к некоторому выпячиванию, теперь просто вылупились, лицо горело. Он снял пиджак и расстегнул жилет. Попросил постовых принести ему виски. Он знал, что Красная Эмма Голдмен сейчас в Нью-Йорке. Немедленно арестовать! Выглянул из окна. Пасмурный, неестественно темный день. Дождь, улицы блестят. Горят фонари. Белый греческий дворец через улицу светится под дождем. Какая мирная картина! В этот момент до Уитмена дошло, что смирение комиссара Райнлэндера Уолдо и всех этих хренов из управления полиции перед ним, Уитменом, суть не что иное, как желание впутать его в политически опасное дело. С одной стороны, он охраняет интересы Моргана, чьи реформационные комитеты богатых республиканцев-протестантов финансировали расследование коррупции католическомдемократическом управлении полиции. С другой стороны, ему приходится защищать собственную репутацию как жесткого О. П., который знает, как действовать с преступными классами. Для этого нужно как можно скорее выбить из седла этого негра. Ему принесли стакан виски. Только один, только чтобы нервы унять, сказал он сам себе. Тем временем полиция уже стучалась в дверь Эммы Голдмен на 13-й улице Западной части города. Эмма не удивилась. У нее всегда был наготове чемоданчик со сменой белья и с книжкой. Со времени убийства президента Мак-Кинли она всегда – привычно уже и даже скучновато – обвинялась в подстрекательстве словом и делом, если случались в Америке насилия, стачки и мятежи. Для блюстителей порядка стало как бы делом принципа пристегнуть ее к любой истории. Она надела шляпу, взяла чемоданчик и прошагала за дверь. В фургоне она сказала конвойному офицеру: "Вы можете мне не верить, но я с удовольствием отдохну в вашей тюряге. Это единственное место, где я могу расслабиться".

Голдмен, конечно, не знала, что один из группы Колхауса – тот самый молодой человек, которого она недавно так рьяно жалела, этот буржуазный любовник презренной шлюхи. Сидя перед столом сержанта в полицейской части на Сентр-стрит, она сделала заявление прессе "Мне жаль пожарников Вустера. Жаль, что их убили. Однако, как я понимаю, негра довели до ручки, над ним издевались, он потерял свою невесту, невинную молодую женщину. Как анархист, я аплодирую захвату собственности мистера Моргана, потому что мистер Морган сам захватчик". Репортеры забросали ее вопросами: "Он ваш последователь, Эмма?", "Вы знаете его?", "Вы связаны с этим делом?" Голдмен улыбнулась и покачала головой. "Угнетатель – капитал, друзья. Капитал притесняет нас всех. Колхаусу Уокеру не нужна была Красная Эмма, чтобы понять это. Для этого ему нужно было только страдание".

Через час экстренные выпуски газет уже рассказывали об аресте. Журналисты обильно цитировали заявление Голдмен. Уитмен стал сомневаться, мудро ли было давать ей такую трибуну. Впрочем, определенная польза была извлечена. Президент Нормального и Индустриального института в Тэскиджи Букер Ти Вашингтон находился в этот момент в городе, он изыскивал дополнительные суммы для своих фондов. В огромном холле Союза медников на Астор-плейс он отступил от подготовленного текста и выразил сожаление по поводу замечаний Голдмен, а также резко осудил акцию Колхауса. Какой-то репортер позвонил Уитмену и рассказал ему об этом. Немедленно окружной прокурор связался с великим просветителем и попросил его приехать, чтобы употребить весь свой авторитет для разрешения кризиса. "Я буду", — сказал Букер Ти Вашингтон. Полицейский эскорт был послан за ним, и вскоре Вашингтон, извинившись перед хозяевами торжественного ленча в его честь, отбыл на передний край борьбы, сопровождаемый аплодисментами.

Букер Ти Вашингтон — самый знаменитый американский негр своего времени. Со дня основания института в Тэскиджи, штат Алабама, он стал ведущим пропагандистом профессиональной подготовки для цветного народа. Он был против вовлечения негров в вопросы политического и социального равенства. Он написал бестселлер – книгу о своей жизни, о весьма героическом пути от рабства к самопознанию, о своих больших идеях, призывающих негров идти вперед с помощью белого соседушки. Он возвещал дружбу всех рас и светлое будущее. Его взгляды были поддержаны четырьмя президентами и большинством губернаторов южных штатов. Эндрю Карнеги раскошелился для него на основание школы, а Гарвардский университет наградил его почетной степенью. Черный костюм и шляпа с большими круглыми полями. Крепкий красивый мужчина, гордый своими достижениями, стоял посреди 36-й улицы и призывал Колхауса впустить его. Будучи оратором-профессионалом, он отверг мегафон. Вся его фигура выражала полное убеждение, что головорезы не устоят перед его требованием. "Итак, я иду!" – оповестил он мир и двинулся вокруг кратера. Он прошел через стальные ворота, поднялся по ступеням меж каменных львиц, остановился под козырьком портика возле двойных ионических колонн и стал ждать, когда дверь откроется. Стояла тишина, такая полная, что были слышны сигналы машины за много кварталов отсюда. Через несколько мгновений дверь открылась, и Букер Ти Вашингтон исчез внутри. Окружной прокурор Уитмен вытер брови и упал в кресло.

Вся святыня разума, представшая перед Букером Вашингтоном, все картины, ярусы редчайших книг, скульптура и бесценная флорентийская мебель — вся эта святыня была окутана проволокой с целью уничтожения. Связка динамита была прикручена к мраморным пилястрам у входа. Проволоки тянулись через весь пол из Западной и Восточной комнат в маленький альков. Там, оседлав мраморную скамью, сидел человек. Перед ним на скамье стоял ящик с т-образным рубильником. Человек держал рубильник этот обеими руками. Он прислонился спиной к бронзовой двери, однако в такой позиции, что, если пуля не минует его, он тогда повалится своей тяжестью именно на рубильник. Парень этот посмотрел через плечо, и у Букера Вашингтона прервалось дыхание: это был не негр, но белый с намазанным лицом, ряженый, лицедей, фигляр. Вашингтон пришел в суровое и гневное расположение духа, однако решил остаться дипломатом. Он заглянул в Западную комнату, а потом пошел через холл в Восточную. Он ждал увидеть здесь большой отряд цветных мятежников, но заметил только трех или четырех юношей с винтовками, стоявших у окон. Кол-хаус встретил его, стоя посреди комнаты в хорошо отглаженном костюме, галстуке и воротничке, но с пистолетом на поясе. Вашингтон оглядел его. Красивое чело его нахмурилось, глаза засверкали. Призывая на помощь все свое ораторское искусство, он заговорил:

"Всю свою жизнь я работал в смирении и надежде ради христианского братства. Я должен был. убедить белого человека, что ему нет нужды бояться нас, нет нужды убивать нас, потому что мы хотим лишь стать лучше и мирно объединиться с ним, вкушая плоды американской демократии. Каждый негр в тюрьме, каждый шулер и прелюбодей нашей расы был моим личным врагом, и каждый инцидент, связанный с испорченным негром, стоил мне куска жизни. Чего будет стоить мне ваша необузданная преступная безрассудность? Чего будет это стоить моим студентам? Тысячи честных черных людей не смогут загладить вред, причиненный вами. Но самое дурное то, что вы, образованный музыкант, вы взялись за это грязное дело, оставив храм музыки, где почитают гармонию и где небесные трубы и звуки арф являются моделью для песен. Чудовище! Если бы вы были невежественны, если бы вы не знали о трагической борьбе нашего народа, я бы еще мог пожалеть вас. Но вы музыкант! Я чувствую здесь пот ярости, бессмысленное восстание дикой, недумающей молодежи. Вот чему вы их научили! Какой несправедливостью, совершенной над вами, какими потерями можно оправдать то, на что вы толкнули

безрассудных юношей? И кроме всего прочего вы включили в свою компанию какого-то белого, который вымазал себе лицо и добавил в ваш арсенал некое дьявольское издевательство".

Каждое слово этой речи долетело до ушей всей компании. Они слышали имя Букера Вашингтона с детства и не могли не благоговеть перед ним. Теперь, быть может, все зависело от ответа Колхауса. Колхаус заговорил мягко: "Это большая честь для меня, сэр, встретить вас. Я всегда восхищался вами. – Он смотрел в мраморный пол. – Это верно, я музыкант и человек в летах. Но именно эти обстоятельства, я надеюсь, могут подсказать вам, как серьезно я все обдумал. И вот поэтому мне кажется, что мы оба, слуги нашей расы, должны настаивать на признании своих человеческих прав". Вашингтон был настолько ошеломлен таким поворотом, что едва не потерял сознания. Колхаус усадил его в кресло красного плюша. Восстановив самообладание, Вашингтон вытер лоб платком. Он взирал на мраморную облицовку огромного, в человеческий рост, камина, глянул вверх на резной потолок, когда-то украшавший дворец кардинала Джильи в Лукке, на красный шелк стен, на портрет Мартина Лютера работы Кранаха Старшего, на несколько "Поклонений волхвов". "О, Господь, – проговорил просветитель, – приведи мой народ в Землю Обетованную. Спаси его от плетей Фараона. Сними оковы с наших умов и ослабь узы греха, что связывают нас с нечистым". Портрет самого Пирпонта Моргана в его зените красовался над камином, и Вашингтон оценил свирепость этого лица. Колхаус Уокер присел рядом с ним, и вместе два этих хорошо одетых черных человека являли собой картину пристойности и самоуглубления. "Пойдем со мной, – сказал мягко Букер Вашингтон, – пойдем, и я буду просить как милосердия, чтоб твой суд был быстрым, а казнь безболезненной. Разбери это оружие дьявола. – Он показал на связки динамита. – Дай мне руку и пойдем со мной. Сделай это ради твоего маленького сына и всех детей нашей расы, которым предстоит долгий путь".

Колхаус сидел в задумчивости. "Мистер Вашингтон – сказал он наконец, нет ничего, с чем бы мне хотелось скорее покончить, чем с этим делом. – Он поднял глаза, и просветитель увидел в них слезы. – Пусть брандмейстер починит мою машину и доставит ее сюда, к этому зданию. Вы увидите, я выйду с поднятыми руками и больше уже никогда и никому Колхаус Уокер не причинит никакого вреда".

В этом заявлении впервые со дня нападения на "Эмеральдовский движок" прозвучало изменение колхаусовской позиции, но Вашингтон не понял этого. Он услышал только, что мольба его отвергнута. Не сказав больше ни слова, он поднялся и ушел. Он шел назад по улице, думая о том, что его вмешательство ни к чему не привело. Колхаус между тем молча шагал по комнатам, а его юноши молча провожали его глазами. За исключением одного, который держал вахту на крыше. Этот лежал под дождем и чувствовал, хотя и не видел, присутствие вокруг тысяч тихо наблюдавших ньюйоркеров. Ночью ему показалось, что город вздохнул — вздох скорби, легкий как дуновение, не громче, чем шелест дождя.

После совещания с окружным прокурором Букер Ти Вашингтон принял репортеров в гостиной временной штаб-квартиры. "Библиотека мистера Моргана это динамитная бомба, готовая взорваться в любой момент, – сказал он им. Перед нами отчаявшийся и умалишенный человек. Я могу только молить Господа в его мудрости помочь нам выбраться живыми из этого печального дела". Затем Вашингтон сделал ряд телефонных звонков и призвал своих друзей из Гарлема, пасторов и лидеров общин, явиться в центр города и продемонстрировать оппозицию здравомыслящих негров Колхаусу Уокеру Мл. Оппозиция приняла форму молчаливого бдения на улицах. Окружной прокурор разрешил это, хотя после мрачного сообщения из библиотеки он уже был готов эвакуировать всех жителей в радиусе двух кварталов. Так обстояли дела, когда прибыл Отец. Его проводили через полицейские кордоны и мимо стоявших с обнаженными головами в молчаливой молитве негров. Он быстро глянул на библиотеку и взбежал по ступенькам штаб-квартиры. Внутри, однако, он был предоставлен сам себе. Никто не подошел к нему, никто как будто даже его не заметил. Дом был полон полицейскими в униформе и какими-то неопределенными личностями. Все колготились вокруг. Отца в конце концов занесло на кухню. Там устроились репортеры. Они активно поедали чужую еду из ледника. Кто сидел, задрав ноги на стол, кто стоял, привалившись к буфету. Все были в шляпах. Раковину использовали как плевательницу. Послушав разговоры, Отец уловил все детали встречи Вашингтона с Колхаусом. Невольно он восхитился славе человека, который когда-то в его гостиной бренчал на расстроенном пианино. Вдруг до него дошло, что Колхаус существенно изменил свои требования. Так ли это? Никто, казалось, этого не заметил. Неужели он уже не требует жизни Уилли Конклина? Так или иначе, необходимо сообщить немедленно о своих соображениях. Он стал искать каких-нибудь официозов и натолкнулся на самого окружного прокурора, которого узнал по снимкам в газете. Уитмен стоял в нише окна с двумя биноклями в руках. "Прошу прощения", – сказал Отец и представился. Затем изложил свои соображения. Ему показалось, что Уитмен метнул на него испуганный взгляд. Он заметил на его лице следы мелких кровоизлияний. Уитмен отвернулся к окну и поднял бинокль к глазам – прямо настоящий адмирал. Не зная, что делать дальше, Отец остался с ним.

Уитмен ждал ответа от мистера Моргана. Он то и дело посматривал на часы. Вдруг кто-то пробежал по улице. Давка в дверях. Сопровождаемый референтами и полицейскими, через гостиную прошел мальчик-посыльный. Он принес "беспроволочную" с "Кармании". Окружной прокурор разорвал конверт. Не веря своим глазам, потряс головой. "Черт побери, — пробормотал он. — Черт меня побери со всеми потрохами. — Вдруг он стал орать на всех окружающих: — Убирайтесь отсюда! Вон! Вон!" Он вытолкал всех за дверь, но Отца удержал. Двери закрылись. Уитмен впихнул телеграмму в руки Отцу. Текст гласил: "ОТДАЙТЕ ЕМУ АВТОМОБИЛЬ И ПОВЕСЬТЕ ЕГО".

Отец поднял глаза и увидел, что Уитмен смотрит на него. "Вот уж такого варианта я не предполагал, — сказал Уитмен, — вот уж не предполагал. Я не могу уступить хорьку, понимаете? Черт побери, мне тогда крышка. Я взял этого сукина сына Бекера. Преступленье века, так это называлось в газетах. Что же, теперь окружной прокурор пойдет на поводу у ниггера? Мне конец, даже если я потом его повешу. Нет, сэр! Heт!"

Уитмен ходил по комнате. Отец вдруг испытал прилив отваги. В руках у него была личная телеграмма от Джона Пирпонта Моргана! Немедленно и бесповоротно это делало его доверенным лицом окружного прокурора Нью-Йорка.

Отец отчетливо видел, что ситуация созрела для переговоров. Морган понял это даже на другом конце света. Колхаус смягчил свои требования, жизнь Конклина ему не нужна. Больше того, по мнению Отца, после кончины Сары самым жгучим желанием Колхауса было – умереть. Он поведал обо всем этом

окружному прокурору. Все дело может решиться очень быстро. Что стоит эта машина? Кроме того, это ведь идея Моргана. "Еще бы, — проговорил Уитмен, — только Морган и может такое придумать. У кого еще хватит нервов!" — "Простите, вы меня не совсем поняли, — сказал Отец. — Я не разбираюсь в политике, но разве это не снимает с вас ответственности?" Уитмен остановился и пристально посмотрел на Отца. "В эту минуту, — сказал он, — вот именно в эту минуту я предполагал быть в Ньюпорте у миссис Стивезант-Рыбчик".

Вот так случилось, что после полуночи упряжка ломовых лошадей вытащила руины "модели-Т" из Пожарного пруда в Нью-Рошелл. Дождь прошел, и выглянули звезды. Лошадей прицепили к бамперу, и они поволокли автомобиль по дороге. Клипп-клоппинг-элонг-клипп-клоппинг-элонг. Возница стоял на переднем сиденье, держа одной рукой вожжи, а другой вцепившись в руль. Все шины были спущены, и вращение колес скрежетом больно отдавалось в ушах. После того как "форд" направился к Матхэттену, Уитмен позвонил Колхаусу и сказал, что хотел бы обсудить с ним его требования. Он предложил в посредники Отца. "Это будет более надежно, чем телефон. Мы оба доверяем этому джентльмену – и вы, и я". У Отца сосало под ложечкой. Через несколько минут он уже увидел себя как бы со стороны холодным ранним утром пересекающим затопленную улицу и поднимающимся по ступеням меж каменных львов. Он напоминал себе, что он отставной офицер армии Соединенных Штатов. Исследователь Северного полюса. Бронзовая дверь приоткрылась, и он шагнул внутрь. Он слышал, как его шаги звенели по полированному мраморному полу. Он думал увидеть сразу какого-нибудь негра, но вместо нефа перед ним стоял его собственный шурин, голый по пояс и с пистолетом в кобуре под мышкой. "ТЫ!" – вскричал Отец. Младший Брат вытащил пистолет, прокрутил барабан и приставил дуло себе к виску в подобии салюта. У Отца онемели ноги. Его усадили. Колха-ус принес ему жестянку с водой. Первое соглашение между двумя сторонами касалось установления круглосуточной прямой связи. По второму соглашению через кратер на улице были переброшены доски. Отец курсировал взад-вперед, выполняя свою миссию в состоянии какого-то онемения, будто спал на ходу. Он не смотрел на своего родственника. За спиной он улавливал престраннейшую пульсацию какого-то горького веселья.

Тем временем Уитмен висел на телефоне, пытаясь обнаружить следы Уилли Конклина. Полиция разыскивала того по всем околоткам. Наконец он догадался позвонить Большому Тиму Салливэну, лидеру Четвертого избирательного участка, одному из воротил Таммани-Холла. Звонок поднял старика с постели. "Тим, сказал окружной прокурор, — у нас тут гость в городе, такой Уилли Конклин из округа Вустер". — "Не знаю этого малого, — пробурчал Большой Тим, — однако посмотрю, не смогу ли что-нибудь сделать". — "Уверен, что сможешь", — сказал Уитмен. Менее чем через час Уилли Конклина приволокли за шиворот к лестнице "браунстоуна". Мокрый и всклокоченный, он был перепуган до смерти. Нижние пуговицы рубашки оторвались, и брюхо нависло над поясом. Его швырнули в кресло и приказали молчать. Полицейский встал над ним. Зубы стучали, руки тряслись. Он потянулся к заднему карману, где носил свою пинту. Фараон наручниками, как плетью, вытянул его по спине и голове.

С рассвета толпы, слегка поредевшие за ночь, вновь собрались за баррикадами. Проржавевшая "модель-Т" стояла у обочины тротуара прямо перед библиотекой.

В оговоренный момент двери "браунстоуна" открылись и двое полицейских вытащили для демонстрации жалкую фигуру Уилли Конклина. Потом утащили его обратно. Теперь, имея уже под рукой и Конклина и машину, Уитмен повел свои переговоры дальше. Он-де намерен возбудить против Конклина дело по обвинению в злонамеренной порче имущества, вандализме и незаконном задержании гражданина. Кроме того, брандмейстера заставят лично участвовать в восстановлении здесь, прямо на улице, изуродованного им автомобиля. С этим унижением он будет жить весь остаток своей жизни. Взамен Уитмен хотел капитуляции Колхауса и всех его людей. "Я гарантирую, что вы получите все ваши права и привилегии, предусмотренные законом".

Когда Отец передал эти условия, парни в библиотеке начали хохотать и улюлюкать. "Мы его достали, – кричали они друг другу — Он поплыл! Теперь мы их сожрем вместе с пуговицами!" Автомобиль под окнами и Конклин на крыльце чрезвычайно всех вдохновили. За исключением Колхауса. Он сидел один в Западной комнате. Отец ждал. Постепенно мрачное настроение Колхауса перевесило. Юноши тревожно переглядывались. Наконец Колхаус сказал Отцу: "Сам я сдамся, но ребят не отдам. Для них я хочу свободного выхода отсюда и полной амнистии. Останьтесь здесь, пожалуйста, пока я не поговорю с ними".

Молодые люди собрались вокруг Колхауса возле ящика с детонатором. Они были потрясены. "Ты ничего им не должен, – кричали они. – Мы взяли за яйца самого Моргана! Пусть отдают нам Конклина и мотор, пусть выпускают нас отсюда и тогда получат назад свою библиотеку. Вот такие условия, мэн, только такие условия!" Колхаус был спокоен и говорил мягко: "Никто из вас не известен властям по имени. Вы можете раствориться в городе и спасти себе жизнь". – "Так же можешь и ты", – сказал кто-то. "Нет, – ответил Колхаус, – меня они никогда не выпустят отсюда, и вы это знаете. Если же выпустят, не пожалеют усилий для охоты за мной. И все, кто со мной, будут выловлены. И все вы умрете. Ради чего?"

"Мы все это оговорили заранее, – сказал один из юношей. – Теперь ты все переворачиваешь. Так не годится, мэн! Мы все – Колхаус! Мы не уйдем отсюда, взорвем все это к дьяволу!" Выступил Младший Брат: "То, что ты делаешь – это предательство. Мы все должны быть свободны, или мы все умрем. Ты подписал свое письмо как Президент Временного правительства Америки". Колхаус кивнул: "Это была риторика, необходимая для поддержания нашего духа". – "Но мы поверили в это! – закричал МБМ. – Мы поверили! На улицах хватит народу, чтобы сформировать армию".

Несомненно, ни один теоретик революции не смог бы отрицать, что перед лицом такого гигантского врага, как вся белая раса, успешная борьба за "форд-Т" — неплохое дело для начала. Младший же Брат, явно не теоретик, продолжал кричать: "Ты не смеешь менять свои требования! Ты не смеешь! Предать нас за машину!" — "Я не изменил своих требований", — сказал Колхаус. "Так что же, проклятый "форд" — это и есть твоя справедливость? — спросил МБМ. — Твоя казнь — это справедливость?" Колхаус посмотрел на него. "Что касается казни, то моя смерть была уже решена в тот день, когда умерла Сара. Что касается моего богом забытого "форда", то и его судьба решилась тогда, когда я ехал мимо пожарки. Я не сократил своих требований, их преувеличили те, кто так долго им сопротивлялся. Теперь я выторгую ваши дорогие мне жизни за жизнь Уилли Конклина, и бог с ним".

Спустя несколько минут Отец шел назад через улицу. В конце концов, Колхаус просто требует справедливости, а его людям на нее наплевать. Это другое поколение. В них нет ничего человеческого. Отец содрогнулся. Настоящие чудовища! У них перекрученные мозги. Собирать армию! Они — грязные революционеры, иначе их не назовешь.

Знаменитое упорство Колхауса стало теперь оплотом против аргументов его бешеных парней. Теперь он стоит между мистером Морганом и ужасной бедой. Ничего из этих соображений Отец не доверил окружному прокурору У прокурора и без того хватало неприятностей. Он забрасывал в топку одну порцию виски за другой. Щетина на лице. Глаза-протуберанцы покраснели. Стоит у окна. Шагает. Кулаком правой руки колотит себя в ладонь левой. То и дело заглядывает в телеграмму Моргана. Отец прочистил горло. "Там не сказано, что вы должны повесить соучастников", – проговорил он. "Что? – вскричал Уитмен. – Что? Олл-райт, олл-райт... – Брякнулся на стул. – Много их там?" – "Пятеро", сказал Отец, бессознательно исключая из этого числа Младшего Брата Матери. Уитмен вздохнул. "Я думаю, это лучшее, что вы можете сделать", – сказал Отец. "Факт, – отозвался окружной прокурор, – но что я скажу газетам?" "Немало, – возразил Отец. – Во-первых, вы скажете, что Колхаус Уокер захвачен. Во-вторых, сокровища мистера Моргана спасены, в-третьих, город в безопасности, в-четвертых, вы используете все возможности вашей службы и полиции для того, чтобы выследить всех подручных, пока последний из них не окажется за

решеткой, где ему и следует быть". Уитмен подумал. "Да, мы возьмем их, – пробормотал он, – прямо там, за баррикадой". – "Ну, – сказал Отец, – это будет сделать трудновато. Они возьмут заложника и не отпустят его до тех пор, пока не будут в безопасности". – "Кто заложник?" – спросил Уитмен. "Я", – сказал Отец. "Понимаю, – сказал Уитмен. – А как вы думаете, почему хорек решил, что он один удержит здание?" – "Он будет сидеть в алькове, недосягаемый для пуль, руки на детонаторе, – сказал Отец. – Мне кажется, этого вполне достаточно".

Быть может, в этот момент Отец питал надежду, что после своего освобождения он сможет привести полицию в логово преступников. Он думал, что без Колхауса у них поубавится пылу пренебрегать законом. Это были убийцы, анархисты и поджигатели, но он не трусил. Он знает этот тип людей и покажет им, кто здесь настоящий мужчина. Что касается Младшего Брата, то он в этот момент даже радовался, что приложит руку к его захвату.

Уитмен уставился в пространство. "Олл-райт, — сказал он, — олл-райт. Подождем до темноты, может быть, никто не увидит того, что мы сделаем. Ради мистера Моргана, и ради его проклятой гутенберговской Библии, и ради проклятого пятистраничного письма руки покойного Джорджа Вашингтона".

Итак, переговоры завершились.

К восьми часам утра люди Форда прислали к библиотеке грузовик со всем комплектом запчастей для "модели-Т". Компания "Пантасот" доставила крышу. Помощники Моргана согласились оплатить все счета. При всем честном народе, глазевшем со всех углов, брандмейстер Конклин под руководством двух механиков приступил к работе, кусок за куском разбирал развалину и строил новый "форд", начиная с шасси. Потея, ворча, жалуясь, а порой и плача, трудился славный герой. Новые шины, новые крылья, новый радиатор, новое магнето, новые двери, новые подножки, новое ветровое стекло, новые фары, новые сиденья. К пяти часам пополудни, когда солнце еще сияло во всю силу над Нью-Йорком, блестящий черный "форд, модель-Т" с заказной брезентовой крышей стоял у бордюра.

Весь день люди Колхауса призывали его изменить решение. Они просто бесились, споря с ним. Он терпеливо их урезонивал. Становилось ясно, что они просто не знают, что им делать без вождя. "Ты стремишься к самоубийству", — кричали они, а сами казались жалкими и потерянными. Уныние сгущалось в библиотеке с каждой минутой. Молодые люди безучастно смотрели из окон на возрождение автомобиля, в котором когда-то Колхаус Уокер Мл. начал свое ухаживание.

Сам Колхаус ни разу не подошел к окну. Он сидел за столом Джона Пирпонта Моргана и составлял свое завещание.

Младший Брат замкнулся в горьком молчании. Отец, который содержался теперь в библиотеке как официальный заложник, решил поговорить с ним. Он думал о том, что он расскажет Матери. Однако тогда лишь только, когда сгустилась темнота и приблизился час ухода, он заставил себя подойти к шурину. Это была последняя возможность поговорить с глазу на глаз.

Молодой человек был в туалете – смывал с лица жженую пробку. Он глянул на Отца в зеркало. "Мне самому от тебя ничего не требуется, – сказал Отец, но не кажется ли тебе, что твоя сестра заслуживает каких-то объяснений?" "Если она обо мне думает, – сказал Младший Брат, – она получит объяснения. Я не хочу их передавать через тебя. Ты самодовольный субъект без малейшего понимания истории. Ты плохо платишь своим рабочим и понятия не имеешь об их нуждах". – "Ясно, ясно", – сказал Отец. "Ты считаешь себя джентльменом во всех своих действиях, – продолжал Младший Брат, – но это просто самообман всех таких, как ты, всех, кто глумится над гуманностью". – "Ты жил под моей крышей и работал в моем бизнесе", – сказал Отец. "Да, ты мог себе позволить такое великодушие, – сказал Младший Брат, – но я оплатил свой долг, и ты об этом узнаешь". Младший Брат мыл лицо мылом и горячей водой, движения его были мощными и резкими. Он вытирался полотенцем с вышитыми инициалами ДПМ. Он швырнул полотенце на пол, надел рубашку, нашарил в карманах запонки, пристегнул манжеты и воротничок, поднял подтяжки. "Ты объездил весь мир и ничего не понял, – сказал он. – Ты думаешь, что это преступление – войти сюда, в это здание, принадлежащее другому, угрожать его собственности. Между тем это гнездо стервятника, нора шакала. – Он надел пиджак, провел ладонями по своей бритой голове, затем водрузил на нее свой "дерби". С интересом посмотрел на себя в зеркало. – Гудбай. Ты меня больше не увидишь. Передай моей сестре, что я всегда буду о ней думать. – Он на мгновение застыл, глядя в пол. Потом прочистил горло: – Ты можешь сказать ей, что я всегда любил ее и всегда восхищался ею".

Группа собралась в холле. Все были одеты в колхаусовскую униформу костюм, галстук, "дерби". Колха-ус приказал им надвинуть котелки на глаза и поднять воротники, чтобы их не опознали. Надеждой на спасение был "форд-Т". Колхаус объяснил, как заводить его, как держать газ. "Когда вы будете в безопасности, позвоните мне по телефону". Отец спросил: "Разве я не еду с ними?" — "Здесь уже есть заложник, — сказал Колхаус, показывая на МБМ. Белые лица похожи одно на другое". Все засмеялись.

Перед огромной бронзовой дверью Колхаус обнял каждого. Младшему Брату достались не менее пылкие объятия, чем другим. Потом он вынул из кармана часы. К этому времени день за окнами уже померк. Он занял свое место в алькове, оседлал мраморную скамью и положил руки на детонатор. "Рубильник немного расхлябан", – крикнул ему Младший Брат. "Олл-райт, – сказал Колхаус, – идите". Один из молодых людей снял засов с дверей, и без дальнейших церемоний все они вывалились наружу. "Задвиньте засов, пожалуйста", – скомандовал Колхаус. Отец подчинился. Он приложил ухо к дверям, но все, что он слышал, было его собственное тяжелое, прерывистое дыхание. Потом после мучительно долгого интервала, во время которого вся надежда на спасение собственной жизни уже утекла из него, он услышал свистящий кашель и лопотание движка "модели-Т". Через несколько мгновений он услышал, что машина пошла. Он побежал в глубину холла. "Они уехали", – сказал он Колхаусу Уокеру Мл. Чернокожий не пошевелился, он смотрел на свои руки, лежавшие на рубильнике детонатора. Отец сел на пол, спиной к мраморной стене. Поднял колени и опустил голову. Некоторое время они оба не двигались. Потом Колхаус попросил Отца рассказать ему о его сыне. Он хотел узнать, как он ходит, хороший ли у него аппетит, начал ли уже говорить, – словом, все до мельчайших подробностей.

40

Два часа спустя Колхаус Уокер Мл. с поднятыми руками спустился по лестнице библиотеки и начал переходить 36-ю улицу по направлению к "браунстоуну". Именно так было оговорено в соглашении. Улица была очищена от зрителей. Перед Колхаусом на противоположном тротуаре стоял взвод Нью-йоркских Отборных, вооруженный карабинами. Поперек улицы на расстоянии тридцати ярдов друг от друга расставлены были два подразделения конной полиции, лошади плечом к плечу, так что образовался коридор, по которому и шел Колхаус. В этом коридоре таким образом он был скрыт от всех посторонних глаз. Генераторы на углу издавали устрашающий грохот. На залитой ярким светом улице Колхаус получил от полиции приказ:

"Беги!" Он знал, конечно, что ему не обязательно бежать — достаточно лишь резко поднять голову, опустить руки или улыбнуться. В любом случае конец будет один. Внутри библиотеки Отец услышал координированный залп расстрельщиков. Он закричал от ужаса и подбежал к окну. Тело дергалось на панели в последовательных позициях, как будто стараясь вытереть собой свою собственную кровь. Полицейские стреляли в охотку. Лошади ржали и дыбились.

В своем гарлемском укрытии люди Колхауса, конечно, уже понимали, что все кончено. Они все были целы, кроме их вождя. Комнаты казались пустыми, рутинно стояли стены, как будто бы ничего не случилось. Что же делать дальше? Все, кроме Младшего Брата, решили остаться в Нью-Йорке. "Модель-Т" была спрятана в соседнем тупичке. Они полагали, что машина, конечно, маркирована полицией. Поскольку МБМ собирался в путешествие, решено было подарить эту тачку ему Ночью он выехал к реке по 125-й улице и на пароме переехал в Нью-Джерси. Он рулил к югу. Очевидно, у него были кое-какие деньжата, хотя неизвестно, какие и откуда. Проехал Филадельфию, потом Балтимор. Он уходил все глубже и глубже, и вот уже негры стояли в полях, глядя на то, как он катил мимо. Машина тянула за собой огромный хвост пыли. Он рулил через маленькие городки Джорджии, где в скудной тени на площадях граждане живо обсуждали повешенье еврейчика Лео Франка за дурное обращение с четырнадцатилетней христианкой Мэри Фейген. Граждане плевали на землю. Народ любил тогда плевать во все стороны. Страна разлетающихся плевков. МБМ обгонял поезда и грохотал в холодном мраке крытых мостов. Картой он не пользовался. Спал в полях. Жал от одной бензоколонки до другой. На заднем сиденье у него собралась дивная коллекция инструментария, запчастей, камер, канистр, банок из-под масла, проволоки. Он не прерывал движения. Деревья становились все более и более разбросанными по равнине, а потом и вовсе исчезли. Скалы и полынь. Красивые закаты манили его все дальше в долины по засохшей, потрескавшейся на солнце глине. Когда однажды "форд" основательно сломался, на помощь ему пришла детвора с упряжкой мулов.

В Таосе Нью-Мексиканском он познакомился с богемой из нью-йоркского Гринич-Вилледжа. Они жили здесь коммуной, носили серапе и рисовали пустынные ландшафты. Они были восхищены его изможденным видом. Даже напиваясь вдребадан, он сохранял какую-то особенную болезненную страстность. Несколько дней он провел с этими чудными людьми. Короткая, но волшебная связь с многоопытной леди.

К этому времени жиденькие волосенки МБМ отросли настолько, что прикрывали ему плешь. Он стал обладателем длинной светлой бороды. Кожа его постоянно шелушилась, а от солнца развилось и некоторое косоглазие. Так он зарулил в Техас. Одежда сносилась — теперь он щеголял в спецовке-

комбинезоне, в мокасинах и индейском одеяле. В пограничном городке Пресидио он толкнул исторический "форд" какому-то лавочнику, снял с радиатора бурдюк с водой и перешел вброд Рио-Гранде, вступив таким образом в Мексику, в городишко Охинага, который то и дело переходил из рук в руки — от федеральных войск к инсургентам и обратно. Мазанкам Охинаги явно недоставало крыш, зато в церковных стенах красовались пробоины от полевых орудий. Поселяне робко жили за стенами своих дворов. Белая пыль на улицах. Здесь была расквартирована сейчас одна из частей Северной армии Франсиско Вильи. МБМ присоединился к ним и был принят как "компаньеро". ВО время марша Вильи к югу на Торреон, двести миль вдоль разрушенной железной дороги, Младший Брат был в самой гуще. Они ехали через великую Мексиканскую пустыню с ее бочкообразными кактусами и испанским штыком. Лагерем вставали на ранчо и в прохладе аббатств. Курили макуче, завернутую в кукурузные листья. Еды было мало. Женщины в темных шалях подносили на головах кувшины с водой.

После победы при Торреоне МБМ стал носить патронташи крест-накрест через грудь. Он был "вильиста", но мечтал встретить Сапату и развиться дальше в "сапатиста". Армия ехала на крышах грузовых вагонов. Бойцов сопровождали семьи. Оружие, белье, корзинки с едой, грудные младенцы. Зола и дым из паровозных труб разъедали глаза и обжигали глотки. Были, конечно, и зонтики от солнца.

В Мехико-Сити состоялась встреча повстанческих вождей из разных регионов. Это был поворотный пункт революции. После падения презренного тирана Диаса взял власть реформист Мадеро. Мадеро пал к ногам генерала Уэрты, ацтека. Теперь и ацтек исчез, и умеренный Каранса пытался установить контроль. Столица кишела бурно плодившимися фракциями, вороватыми бюрократами, иностранными бизнесменами и шпионами. В этот хаос и вступила крестьянская армия Сапаты, южане. Город затих. Их репутация была настолько свирепой, что горожане трепетали перед ними. МБМ спокойно стоял в рядах "вильистов" и наблюдал вступление. Через некоторое время начались смешки. Грозные воины Юга не могли связать двух слов. Многие из них были просто детьми. Они пялили глаза на дворец Чапультепек. Оборванцы. Они стеснялись ходить по тротуарам Пасео де ла Реформа, бульвара особняков и ресторанов под открытым небом. Ужас как испужались они электрического трамвая. В пожарную машину кто-то из них со страху выпалил из ружья. Сам великий Сапата увлекся фотографированием собственной персоны и не заметил, как Вилья взгромоздился в президентское кресло.

Этим кампесинос [9] с Юга не понравился ни Мехико-Сити, ни революция умеренных. Когда они ушли, Младший Брат отправился с ними. Он никогда не раскрывал своих особых познаний офицерам Вильи, зато Эмилиано Сапате он сказал напрямик: "Я умею делать бомбы и могу поднять на воздух все что хотите". В пустыне устроили демонстрацию таланта. МБМ наполнил четыре сухих тыквы песком из-под ног и добавил туда несколько щепоток черного порошка. Скатав кукурузные волокна, изготовил запалы. Поджег оные запалы и бросил по тыкве во все стороны света, по компасу. Отличнейшие получились дырки в пустыне, по десять футов шириной каждая. Весь следующий год МБМ возглавлял партизанские рейды на нефтяные поля, плавильные печи и федеральные гарнизоны. "Сапатисты" весьма уважали его, хотя даже и они считали замечательного подрывника слегка безрассудным. В одном из бомбовых налетов был поврежден его слух. В конечном счете он оглох. Он наблюдал теперь свои взрывы, но, увы, не мог их слышать. Стройные опоры горных железных дорог молча сминались и опадали в глубокие пропасти. Заводы и фабрики коллапсировали в белой пыли. Мы не уверены в точных обстоятельствах его смерти, но по всей вероятности он погиб в перестрелке с правительственными войсками возле плантации Чинамека в Морелос, где через несколько лет и сам Сапата был подстрелен из засады.

К тому времени президентом в Соединенных Штатах стал, конечно, Вудро Вильсон. Он был избран народом за его воинские качества. Тедди Рузвельт очень даже просчитался, обвиняя Вильсона в злокачественном пацифизме: дескать, он из тех пуритан, что пожирают рыбу с костями. Новый президент тут же дал работу морской пехоте, высадив ее в Вера-Крусе. И армия была не забыта: ее послали через

границу преследовать Панчо Вилью. Он носил очки без оправы и держался строгой морали. В мировую войну он вступил с яростью, как оскорбленный словечком "пацифист". Ни сын Тедди Рузвельта — Квентин, погибший в воздушном бою над Францией, ни сам Большой Лось, умерший от тоски вскоре после этого, не перенесли, как видим, вильсоновского злокачественного пацифизма.

Знаки приближавшегося всесожжения были повсюду. В Гааге открылся Дворец мира, и сорок две нации прислали на церемонию своих представителей. Конференция социалистов в Вене постановила, что никогда более рабочий класс не будет биться друг против друга в империалистических войнах. Художники в Париже стали рисовать портреты с двумя глазами на одной стороне лица. Еврейский профессор в Цюрихе опубликовал бумаженцию, в которой доказывал, что вселенная изогнута. Ничто из этого не ускользнуло, конечно, от Пирпонта Моргана. Он высадился в Шербуре, еще в море позабыв злосчастный эпизод с сумасшедшим негром, забравшимся в его библиотеку. Затем он двинулся привычным путем через континент, из страны в страну, в личном поезде и повсюду обедал с банкирами, премьерами и королями. В этой последней группе он отметил нарастающую деградацию. Если августейшие фамилии не были меланхоличными, они обязательно были истеричными. Опрокидывают бокалы с вином, вопят на слуг. Он наблюдал эти неприличные выходки и пришел к выводу, что короли уже изживают сами себя. Это была паутина родственников, они все переженились за долгие столетия и породили в своей новой генерации невежество и идиотизм. На похоронах Эдуарда VII в Лондоне они пихали, толкали и били локтями друг друга, как дети, за местечко в кортеже.

Морган отправился в Рим и занял свой обычный этаж в Гранд-Отеле. Очень быстро серебряное блюдо его дворецкого заполнилось карточками аристократов. Несколько недель Морган принимал графьев и принцев. Все они приносили кой-чего из фамильных ценностей. Иные из них были обнищавшими смурнягами, другие просто-напросто хотели конвертировать свои активы. Все, однако, казалось, только одного и желали — смыться поскорее из Европы. Морган сидел на стуле с прямой спинкой, сложив руки на набалдашнике трости, которую держал между ног, и сам похожий на набалдашник собственной трости. Он осматривал холсты, майолику, фарфор, фаянс, бронзу, прочее. Он либо кивал, либо качал — чем? — головой. Комнаты медленно (но верно) заполнялись предметами красивого быта. Красивое золотое распятье. Потянешь превращается в стилет. Тут американ, конечно, не удержался кивнул. В вестибюле отеля, и за дверями, и вокруг всего квартала, и дальше, и дальше тянулась очередь аристократов. Костюмчики, шляпки, трости. Все с узелками. Наиболее отважные и нетерпеливые — сразу быка за рога сдавали жен и детей. Очень бьютифульных молодых женщин со скорбными глазами и деликатнейших вьюношей. Один инвалид привел близнецов, мальчика и девочку, быстро снял с них серый вельвет и кружева и стал крутить во всех направлениях.

Морган оставался в Европе до тех пор, пока его агенты не сообщили ему, что нильский пароход ждет в Александрии, снаряженный и готовый к плаванью. Перед отправкой он попытался еще раз убедить Генри Форда катануть в Египет. Составил лично предлиннейшую телеграмму. И вот ответ: Форд, видите ли, не может оставить свой зеленый Мичиган, потому что пытается уже на последней стадии облапошить парнюгу, изобретателя какой-то пилюли, увеличивающей всяческие мощности. Тогда Морган отдал приказ запечатывать всю барахолку. Дело было осенью, вот в чем штука. Прибыв в Александрию, он подошел к своему стальному пароходику и потом с тем же успехом, уже не оглядываясь, поднялся на борт и приказал капитану: давай отчаливай!

В голове у Моргана была такая идея – выбрать местечко на Ниле для собственной пирамиды. В сейфе своем он прятал от всех секретный... но детальный (до последнего гвоздя) проект, разработанный фирмой Маккима и Уайта. С современной-то техникой, с паровыми-то лопатами, с кранами, с полуфабрикатами можно отгрохать сносную пирамиду за три года. Эти дела будоражили большого американа, как первая любовь. Все будет в этой пирамиде: Палата фальшивого короля и Палата истинного короля, Неприступная

сокровищница, Гранд-галерея, Спускающийся коридор, Поднимающийся коридор, Тайный ход к берегам Нила – все будет, что надо.

Первая остановка — Гиза. Он хотел тут авансом почувствовать вечную энергию, которую будет представлять, когда умрет и восстанет в лучах солнца, чтобы снова народиться. Пароход причалил ночью, и он с правого борта наблюдал силуэты огромных пирамид на фоне синего неба, не без звезд. Тут уже поджидали его платные доброхоты в арабских бурнусах. Они вмонтировали его верблюду меж двух горбов, и вся экспедиция направилась ко входу в Великую пирамиду. Пренебрегая советами знающих людей, богатый человек решил провести ночь внутри пирамиды. Он надеялся — за одну ночь — узнать диспозицию Осирисовой КА, то есть души, а также БА, то есть физической живучести. Он шел за своими гидами вниз по коридору. Свет факела, огромнейшие согбенные тени по стенам и потолку. Повороты, повороты, разные там лазы, которые приходилось преодолевать ползком на всех четырех, протискивание через последнюю апертуру, и вот он в середине, в самом сердце. Здесь он заплатил гидам половину оговоренной суммы для того, чтобы они не забыли прийти за ним завтра, иначе у них не сойдется баланс. Получив на прощание пожелание спокойной ночи, он остался один. Всего лишь кусочек неба синего в конце узкой воздушной горловины да единственная звездочка вдали.

Морган спать не будет этой ночкой. В Королевской палате, из которой сам же вытащил всю фурнитуру, не до сна. И ни капли бренди из припасенной заранее фляги. Алкоголь вульгарен. Он прислушивался и взирал в темноту, ожидая, какие знаки ниспошлет ему великий Осирис. Через несколько часов он задремал. Ему приснилась древняя жизнь, какой-то базар и он сам, уличный торговец, сидя на корточках обменивающийся добродушными проклятиями с оравой драгоманов. Этот сон так не понравился ему, что он тут же проснулся. Он был уверен, что по нему кто-то ползет. Зажег совершенно неподходящую к случаю безопасную спичку и увидел на одеяле (взял с собой, хоть спать не собирался) целую огромную коммуну клопов. Тогда он начал ходить взад-вперед во всех направлениях, вытягивая вперед руки, чтобы не расшибиться о каменные стены. Он решил, что в такой пограничной ситуации следует делать различие между фальшивыми знаками и истинными. Сон про тележечника на базаре – фальшивка. Клопы подлейшая фальшь. Истинные знаки – это блаженное зрелище маленьких красных птиц с человеческими головами, летящих в собственном огненном свечении. Ведь сколько же он видел оных птах на разных египетских меблировках. Не появились эти БА, не материализовались. В конце концов он увидел сквозь бесконечно длинную и узкую воздушную шахту, как звездочка завяла, а ромбоид ночного неба прозаически посерел. Он позволил себе отхлебнуть бренди. Не помешало. Ноги-то окоченели, и нос, нос, нос на мокром месте.

Моргановские помощники пришли вместе с арабами и вытащили патрона на поверхность. Он был снова вмонтирован в верблюда и влеком теперь подальше от пирамид. Утреннее небо сияло по-своему, надо отдать ему должное. Морган глянул на Великого сфинкса и увидел на нем массу людей, копошившихся, как черви. Одни угнездились промеж когтей, другие забрались в дыры лика, третьи махали прямо с макушки. Морган вскинулся: осквернители были в форме бейсболистов. Вокруг сфинкса фотографы расставили свои треноги, засунули головы под черные тряпки и выставили зады. "Бога ради, что здесь происходит?" — спросил великан. "Нью-йоркские гиганты" выиграли вымпел и сейчас совершают кругосветный тур", — ответствовал помощник. "Вымпел? — спросил Морган. — Что они выиграли? Вымпел?" К нему бежал, клацая по священным камням подкованными башмаками, уродливый коротышка с огрызком сигары в зубах. "Менеджер Мак-Гроу спешит засвидетельствовать вам почтение", — пояснил помощник. Не сказав ни слова, Морган пхнул каблуками своего дромадера, и они помчались галопом к пароходу.

Вскоре после этих приключений здоровье Моргана внезапно покачнулось. Он потребовал, чтобы его перевезли обратно в Рим. Он был далеко не несчастен, придя к заключению, что упадок здоровья как раз и

есть тот самый знак, которого он ждал. Он так безотлагательно был снова нужен на земле, что его освободили от обычных погребальных ритуалов – имелась в виду новая пирамида, должно быть. Члены семьи встретили его в Риме. "Не печальтесь, – сказал он им. – Война ускорит все дело". Они не понимали, о чем он говорит. Они сидели у постели, когда он умер не без приятного предвкушения в возрасте семидесяти шести лет.

Вслед за смертью Д. П. Моргана произошел несчастный случай с эрцгерцогом Францем-Фердинандом. Он приехал в Сараево, столицу Боснии, с невинной целью проинспектировать войска. С ним была, как положено, и супруга, графиня Софи. Эрцгерцог по привычке держал свой шлем с плюмажем на сгибе руки. Вдруг какой-то сильный грохот, изрядно дыму, крики, и вот, пожалуйте, с ног до головы августейшая чета засыпана известкой. Какой-то дурак бросил бомбу. Мэр умирает от ужаса. Эрцгерцог в ярости. "День испорчен", — сказал он и приказал шоферу немедленно выехать из узкого городка. Шофер загазовался и повернул "даймлер" не туда, куда надо. Он остановился, переключил скорости и стал разворачиваться задним ходом, и тут как раз случился рядом Гаврило Принцип, один из террористов, который уже отчаялся убить сегодня эрцгерцога. Увидев счастливую возможность, патриот скакнул на подножку безобразно неуклюжего автомобиля, нацелил пистоль в эрцгерцога и потянул курок. Выстрелы. Графиня Софи падает Францу между колен. Кровь фонтаном из горла Фердинанда. Крики. Зеленые перья плюмажа краснеют от крови. Солдаты, как всегда вовремя, хватают убийцу. Борьба — в их пользу, припечатан к земле. Волокут — куда? — в тюрьму, конечно.

Нью-йоркские газеты сообщили эту новость как проявление насилия, свойственного Балканским государствам. Мало кто из американцев чувствовал особую симпатию к убиенному наследнику австровенгерского трона. Один лишь волшебник Гарри Гудини, читая за завтраком газету, был неприятно удивлен гибелью старого знакомого. Подумать только, сказал он сам себе. Подумать только. Он вспомнил флегматичную физиономию эрцгерцога, взирающего на него из-под короткой щетки своих волос. Священным трепетом наполнила его за завтраком мысль о том, как легко может быть сброшен на свалку носитель власти и мощи огромной империи.

Так уж случилось, что именно в этот день у Гудини был назначен очередной сногсшибательный кунштюк, иначе он, конечно, даже без всякого сомнения уделил бы смерти эрцгерцога гораздо больше внимания. Пришлось, однако, выйти из дома, кликнуть кеб и отправиться в центр, на Таймс-сквер. Здесь через полтора часа при стечении многих тысяч его связали в смирительной рубашке, прикрепили за лодыжки к стальному тросу и стали подтягивать вверх ногами на высоту башни "Таймса". С каждым поворотом лебедки, стоявшей на крыше внушительного здания, он поднимался выше на несколько футов и все больше и больше раскачивался под ветром. Толпа ликовала. Был теплый день, и небо голубело. Чем выше он поднимался, тем больше удалялись звуки улицы. Он видел свое имя вверх тормашками, начертанное на фасаде "Палас-театра" в пяти кварталах к северу. Автомобили трубили, трамваи сбивались в кучу на Тайме-сквере, когда водители останавливались посмотреть на великий шухер. Полиция на приплясывающих коняшках свистела в свистки. Все было вверх тормашками – автомобили, люди, полиция (упоминается отдельно от людей, поскольку верхом), тротуары, здания, и это естественно. Небо – в ногах! Гудини вздымался мимо огромного табло бейсбольной информации, прикрепленного к фасаду небоскреба. Он глубоко дышал и находил успокоение в опасности – это чувство вырабатывается годами физической дисциплины. Он приказал ассистентам поднять его приблизительно до двенадцатого этажа, достаточно высоко, но и не слишком высоко для зрителей. План был таков: на данной высоте начинается ожесточенная борьба со смирительной рубашкой, победа за нами, гадость эта летит вниз, а Гудини выбрасывает свое тело вверх подобно лезвию складного ножа и захватывает кабель, прикрепленный к его лодыжкам. Затем он встает на изгибе крюка подобающей человеку частью тела вверх и, приветствуя толпу, своими собственными руками начинает спуск Гудини сравнительно недавно почувствовал большое облегчение в отношениях с самим собой. Тоска по матери, страх потерять зрителей, подозрение, что его жизнь никчемна, а достижения его смехотворны – все это осталось, но он легче это переносил. У него появилось новое увлечение – срывание масок с шарлатанов-спиритуалистов. Он являлся на сеансы и разоблачал поддельных медиумов, раскрывал и предавал общественному презрению ловушки и устройства, которыми дурачили простаков. На массовых представлениях он вставал и предлагал господам оккультистам пари на 10 000 долларов в том, что любое из их магических чудес он, Гудини, сможет повторить при помощи механизмов. Пресса и публика просто с ума сходили от этого нового направления его творчества. У него было смутное чувство, что раз его мама мертва, он должен защищать небеса, ибо и сам к ним теперь имеет некоторое отношение. Быть может, он уже и приближается к границам региона, где она теперь обитает. Частные детективы выслеживали для него сеансы спиритизма во всех городах, где он гастролировал. Он приходил на них загримированный под седовласую вдову под вуалью. Цап вытаскивал из-под стола электрический моторчик, придававший предмету вращение, хвать – срывал покрывало со спрятанной виктролы, оп-па хватал за шиворот соучастника, притаившегося за шторой. Засим торжественное снимание парика и объявление собственной персоны. Повестки в суд дюжинами, пачками. Такова жизнь. Гудини понял, что достиг уже нужной высоты. Ветер здесь был несколько сильнее. Он чувствовал, что начинает вращаться. То перед ним были окна башни "Таймса", то открытое пространство над Бродвеем и Седьмой авеню. "Эй, Гудини", – позвал какой-то голос. Ветер повернул Гудини к зданию. В окне двенадцатого этажа стоял усмехающийся мужчина. "Эй, Гудини, – сказал он, – етиттвою, Гудини". – "Взаимно, Джек", ответил ему волшебник. Он мог бы освободиться от смирительной рубашки меньше чем за одну минуту, но в этом случае публика была бы чрезвычайно разочарована. Поэтому он стал изображать свирепую борьбу. Ахи и охи долетали снизу. Вскоре вся его верхняя половина, включая, конечно, и голову, вроде бы окончательно запуталась. В темноте смирительной мануфактуры он решил на мгновение передохнуть. Итак, он висел вниз головой над Бродвеем, шел 1914 год, эрцгерцог Франц-Фердинанд только что был убит. В этот момент некий образ из прошлого возник в сознании Гудини. Он увидел Малыша, мальчишку, глядящего на свое отражение в сияющих фарах автомобиля.

Мы располагаем записью этого странного события в собственных неопубликованных бумагах Гудини. Конечно, учитывая особенности его профессии, все склонности великого фокусника, мы должны критически относиться к его заявлению, что это было единственное ("Предупреди эрцгерцога!") истинно мистическое событие в его жизни. Так это или иначе, но в семейных архивах имеется визитная карточка Гудини, датированная неделей позже его подъема на башню "Таймса". Никого, однако, не было дома, чтобы принять его. Семья к тому времени вступила в период рассасывания. Мать, Малыш и шоколадный ребеночек, окрещенный Колхаусом Уокером Третьим, ехали в туристическом "паккарде". Родительница была за рулем и держала курс к побережью штата Мэн, где художник Уинслоу Хомер жил в последние годы своей жизни и где его вдохновляли дамы, похожие на Родительницу. Мать и Отец были теперь в самых корректных, но весьма ограниченных отношениях – смерть Младшего Брата в Мексике дала финальный импульс для их разделения. Дед не пережил зимы и обосновался теперь на кладбище за Первой конгрегатской церковью на Северной авеню в Нью-Рошелл. Отец был в Вашингтоне, то есть в нашей столице. После своего возвращения на фабрику фейерверков он нашел полный ящик чертежей. Это и было платой Младшего Брата за долги, о чем тот говорил ему в их последнем разговоре в библиотеке Моргана. Более чем щедрая оплата, надо сказать. За полтора года до своей эмиграции МБМ изобрел семнадцать видов оружия, некоторые из них были настолько передовыми, что США не смогли их освоить до второй мировой войны. Здесь были такие прелести, как безотказный реактивный гранатомет, сверхчувствительная мина, звукоулавливающая глубинная бомба, инфракрасный винтовочный прицел, трассирующие пули, облегченный пулемет, шрапнельная граната, нафаршированная нитроглицерином, портативный огнемет. Именно с целью внедрения замечательных новшеств Родитель прибыл в Вашингтон и свел дружбу с высокопоставленными офицерами армии и флота. Сложностей было немало: и испытания прототипов, и переговоры по контрактам, и конференции, и самые дорогие процедуры, то есть завтраки, ужины и разв лечения с лоббистами. Отец самоотв ерженно снял апартаменты в отеле "Хэй-Адамс". Как лучше убежать от личного неблагополучия? Ринуться с головой в работу – таков ответ. Когда занялась Великая война в Европе, Отец был одним из тех, кто опасался, что у Вудро Вильсона не хватит боевого духа. Он открыто ратов ал за приготов ления к боям, пока это не стало и официальной точкой зрения. Другие правительства, гораздо больше, чем наше собственное, проявляли живейший интерес к плодам пагубного таланта Младшего Брата, и по просьбе госдепа Отец старался определить эти интересы и решить, кому отдать предпочтение. С германцами он был, естеств енно, груб, с британцами – дружелюбен, что тоже естеств енно. Он полагал, что симпатии Америки склонятся в конечном счете к союзникам, и так оно и случилось в 1917 году. Впрочем, уже в 1915-м стало ясно, что это неизбежно. В том году германская субмарина торпедиров ала британский лайнер "Лузитанию". Судно было зарегистриров ано как в ооруженный торгов ый корабль, однако немцы, в озможно, знали, что в трюмах у него - военные материалы. Двенадцать сотен мужчин, женщин и детей потеряли свои жизни в водах Атлантики, многие из них были американцами, а одним из этих американцев оказался Отец, который направлялся в Лондон с первой партией гранат, глубинных бомб и других вещей для Военного ведомства и Адмиралтейства. Вещи эти, без сомнения, вызвали чудовищную детонацию в корабле и способствовали его резкому погружению.

Бедный Родитель, мне в идится его последняя экспедиция. Он прибыв ает в неизв еданные края, волосы его подняты в удивлении, рот и глаза немы. Цыпочки его касаются мягкого потревоженного песка, руки и ноги дв ижутся в торжеств енной пантомиме: иммигрант, как и в любой момент св оей жизни, он прибывает сейчас навечно к берегам Своей Сути.

Мать носила траур целый год. К концу этого срока другой вдовец Тятя предложил ей руку и сердце. "Вы же понимаете, я не есть никакой не барон, сказал он. – Я еврейский социалист из Западной России". Мать приняла его предложение без колебаний. Она обожала его, ей нрав илось быть с ним. Они как бы дополняли характеры друг друга. Они поженились гражданским браком в судейской палате Нью-Йорка. Блаженство. Союз их был радостным, хотя и без показухи. Тятя сделал большие деньги, выпустив серию "Контрразведчик Слайд и тень канонерки", но великий его успех был еще впереди. Семья сдала дом в Нью-Рошелл и переехала в Калифорнию. Они поселились в большом белом доме – с арками и оранжевой черепичной крышей. Пальмы вдоль дорожек. Клумбы с яркими красными цветами. Однажды утром Тятя в ыглянул из окна св оего кабинета и ув идел трех детей, сидев ших на лужайке. На дорожке стоял трехколесный в елосипед. Его чернов олосая дочь, его кучеряв ый пасынок и его подопечный черный ребенок. Внезапная идея фильма озарила его – в оттак быв ает. Шайка ребятишек, приятели, белые, черные, жирные, тощие, богатые, бедные, всякие, маленькие, озорные пострелы, охотники за веселыми приключениями в св оем собств енном околотке, эдакая банда беспечных оборв анцев ,попадающая в переделки и выбирающаяся из них. Конечно же, серия, целая серия фильмов фильмы, фильмы... А к этому в ремени эра рэгтайма уходила в даль, сопров ождаемая тяжелым дыханием машин, как будто история была не чем больше, как только нотами для пианиста. Мы дрались и выиграли войну. Анархистка Эмма Голдмен была депортиров ана. Красив ая и страстная Эв елин Несбит потеряла св ои прелести и растворилась во мраке. Что касается Гарри Кэй Фсоу, то он, освободившись в конце концов из приюта для умалишенных, браво маршировал на ежегодных парадах в честь Дня победы в Ньюпорте.

Примечания

1

Фаренгейта

2

Джон Филип Соза – автор патриотических песен типа "Звездно-полосатый флаг" – Прим. перев.

3

Эл Джолсон — певец, исполнитель сентиментальных песенок. — Прим. перев.) одним из великих бесстыдников-эдипов (движение XIX века, которое включало в себя таких людей, как По, Джон Браун, Линкольн и Джеймс Мак-Нейл Уистлер (Джеймс Эббот Мак-Нейл Уистлер (1834-1903) живописец и график. — Прим. перев.)

4

Покушение, нападение (франц.). – Прим. перев.

5

Автор употребляет в тексте русские слова, которые мы выделяем курсивом – Прим. перев.

6

Так называли функционеров ИРМа – Индустриальных Рабочих Мира – Прим. перев.

7

Леон Чолгош – американский анархист, убивший президента Мак-Кинли – Прим. перев.

8

Первое собрание сочинений Шекспира, изданное в 1623 году – Прим. перев.

9

Крестьянам (исп.) – Прим. перев.